

Сергей Катков

ТЕРРА ВЕНЕЦИЯ

...по-моему, Хэзлитт сказал, что единственной вещью, способной превзойти этот водный город, был бы город, построенный в воздухе.

И. Бродский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В год, когда воздушные мастерские только налаживали, весь мир был очарован совсем другой возможностью. Конференции, привлекавшие в город специалистов разных профилей, на целый месяц обеспечивали гостиницы архитекторами, инженерами, физиками, ландшафтными дизайнерами. Великой вероятностью и уверенностью веяло в воздухе: сюда перенесут целые исторические кварталы, сотворят первый в мире архитектурный заповедник. Под ренессансные настроения над городом реяли растяжки «Венеция 2.0». Дирижабли и аэростаты снова входили в моду, протискиваясь в обход авиакомпаний. В заливе возвели крупнейший на всем побережье железнодорожный терминал — точную копию венецианского Сан-Марко. Прихоть фантазирования, что железнодорожный Сан-Марко впишется в приморский ландшафт, — дело художника, а не представителя цеха создателей путешествий, умельцев монтировать не пересечение небесного и земного, а мира индустриальных металлов и промышленных перевозок. Это была совсем, совсем иная возможность старой формы, предвидеть которую дано не всякому инженеру, пусть он даже и Главный Архитектор.

Новую манеру живописи открыли именно здесь, в Гаванне, задолго до изобретения революционной строительной технологии. Живописец, позже известный как Первый Мастер, юноша, способный дать фору любому олимпийскому бегуну, в майский день с риском для жизни вскарабкался на скалу, сжимая под мышками мольберт и краски, и, заглядывая через утес, запечатлел несуществующее.

В тот год портовый приют в теплом заливе — пористый рогалик кварталов, проходных дворов, — продолжал свой полусон в изгибе спящего минотавра, вытянувшегося набережной.

Солнце скакало день-деньской над исполинским базальтовым гребнем, замыкавшим городок с севера, залив жмурился ему в ответ, образцово ориентированный природой с востока на запад. Тучи, причаливая, вязли в скальном гребне; ветер заглядывал только южный, его собратья взмывали над городом, прокатываясь, как по трамплину, и уносили непогоду. После сезона дождей еще несколько дней струилась по скале поземка радужного водопада. Крошечные кварталы с моря выглядели горсткой разноцветных каменьев, набранных как попало.

Художник делал эскизы городка, стоя на утесе, — удобная для этюдов площадка, выдвинувшаяся в середине скалы Безымянная. Когда улицы и домики, обращенные высотой в открыточный вид, усаживали низ холста, сверху живописец оглаживал его особой, самой легкой в мире краской: мертвенная синь, потусторонняя изнаночная белизна — будущее. Эти, а потом и картины последователей Первого Мастера, пользовались у современников вниманием едва ли чуть большим, чем колдовские фигурки из золы, сами собой спекшиеся в печи. Их зимой поутру выметает хозяйка в ведро: подумаешь, было бы чем любоваться. Если ребенок не успеет выхватить из мусора, навсегда пропали ночные игрища огня. Экзотики ради иногда их брал заезжий коллекционер или галерейщик, выглядев среди лоточных сокровищ на набережной. В метрополии говорили, что товар безнадежно скучный. Так бы они и пропали, фигурками в золе, если бы через полвека, в год первой конференции, миражи этих картин не проявились над головами проворонивших их обывателей. Но и в тот раз было еще не их время: весь мир был очарован совсем другой возможностью.

Через полвека сенсацией стал сам город, скала над ним и обнимавший все вместе залив. Во-первых, крупнейшая архитектурная конференция, загадочным образом перенесенная организаторами Притцкеровской премии именно сюда; во-вторых, выставка достижений строительных технологий — павильоны развернули по всему городку. «Архитектурно-физическая симбиотика», как называли новый градостроительный эксперимент в натуральном масштабе, в тот год готова была ворваться в мир, и Гаванна претендовала на первое место его проведения.

Мощная базальтовая скала, образованная природой в виде высокого амфитеатра, соблазняла возможностью разместить по ее периметру множество воздушных ярусов, крепленных частично на тросах, частично в «гомеостатических сетках». В сетки фасовали по-особенному облученный металл — антигравитон. Платформа такого металла держала в невесомости целый квартал. С точки зрения градостроительства, перспективы открывались невероятные. Немедленно заговорили об архитектурной революции, очередном поворотном пункте в развитии человечества, самообразовались так называемые «новые архитектурные теоретики», еще более модные, чем их профессиональные тезки, философы-постмодернисты. Теоретики многозначительно закатывали глаза и уходили теоретизировать в свои кабинеты. Результаты выходили химерические, требовательные, одновременно хищные: доктрина «исторического возмездия». Теоретизировалось, что поднятые из вод своего происхождения, аккуратно распиленные, все до единого кварталы Венеции будут спасены новой технологией. Их прицепят по периметру скалы, расфасовав по левитационным платформам, а затем заполнят пространство над городком, в дополнение к антигравитону подстраховав протянутыми снизу тросами. Чтобы граждане не страдали от нехватки света, Воздушную Венецию подвешат ярусами, что, конечно, несколько нарушит ее исконную географию, зато ярусы соединят лифтами, эскалаторами, лестницами, канатными дорогами, и территориальная целостность исторического «города на воде» будет соблюдена. Особая роль отводилась железнодорожному терминалу, который свяжут канаткой со всеми уровнями. То есть турист, посмеивались теоретики, практически не заметит подмены: он, как через площадь Сан-Марко попадал в город, таким же макаром попадет и теперь, разве что из гондолы пересядет в подвешенную люльку. Ха-ха! Однако, самое поразительное, что хотя ничего из этого еще не было сооружено, не существовало даже в самых разнузданных проектах теоретиков, в планах и головах, — все уже было изобретено за полвека до этого: на картинах Первого Мастера, исполненных, как признавали потом знатоки, чрезвычайной точности, знания матчасти. Художник действительно жил некоторое время в Италии, изучая живопись, знал виды Венеции в оригинале, а не по ведутам Каналетто и Гварди.

Одно смущало теоретиков: когда наступит «усталость» металла? А он мог устать и через полвека, и через век, и через неделю после того, как развешат гирлянды кварталов.

Но на Конференции новые теоретики побили старых практиков и даже самых застарелых скептиков. В год, когда обратили внимание на Школу воздушных мастерских и когда к ней пришла заслуженная слава, было решено, что Венеция, перенесенная по частям через океан, повиснет над Гаванной прямо так, со сваями, и найдет здесь свой последний приют.

До сего момента Школа мастерских жила очень тихо, не рождая шедевры и эксперименты. Художники были старательные, добротные мастера классической живописи. Лишь неизменно, настойчиво рисовавшие в унисон реальному городу совершенно новое, почти невидимое — город футуристической небывальщины.

Венецию перестали изображать почти сразу после Первого Мастера, разве что еще несколько его прямых учеников довершили размещение последних кварталов «города в лагуне» и, как говорить, сменили жанр. Они шли в будущее. Чем дальше, тем фантастичнее и неправдоподобнее становился этот жанр. Один из мастеров, болтавший лишнее и поэтому изгнанный из Школы за «предательство провидческого наследия», охотно выступал с лекциями, объясняя тайну и доктрину Школы. Вот что он говорил собравшимся в пассаже недавно открытого Нового Сан-Марко:

— Первый мастер был исключительных масштабов провидцем. Вопреки всему миру он понимал одну банальнейшую, но невероятнейшую для своих современников гипотезу. Кинематограф едва входил в наш мир, едва зарождались его принципы, когда даже самые разнужданные передовики искусства пренаивно полагали, что сидим мы в зрительном зале. Но наш мастер, этот величайший после Леонардо симбиотик науки и искусства, вытащил свое откровение из самой сути природы: художник способен перелицевать пространство-время наизнанку и узреть себя в любом месте континуума. Что этим я хочу сказать? А то, господа, что, собравшись здесь, в здании вокзала, имеющего пророческую форму собора, мы, дорогой, многоуважаемый зритель, должны понимать, что художник с такой нечеловеческой силой воображения находится не в зрительном зале, о нет! Но — на сцене! Среди декораций и периодических действ. Он — листок в потоке воды, он, колеблемый в напоре времени, способен запечатлеть идеи и образы любого будущего, какого только пожелает.

Из всего дикого сумбура слушатель должен был домыслить, что время здесь, в этом городке, вписанном в каменную линзу скалы, якобы

фокусируется, транслируя будущее, тогда как за его пределами естественным образом протекает в своем разреженном нормальном виде.

Впрочем, почти ничего не сбылось: ни теоретических венецианских кварталов, ни футуристической архитектуры, один только Новый Сан-Марко, роскошно старящийся, ветшающий, словно папье-машевный остов левиафана, провожал урежающиеся гудки поездов, чтобы однажды все это увидел наш герой, Даниэль Брюль, который только что оставил купе, вышел из вокзала и посмотрел на город, будто чтобы удостовериться, так ли было на самом деле, как он об этом читал с детства. Через пятьдесят лет после шумной и даже немного всемирной славы от нее осталось несколько коллекционных серий календариков, тираж которых на пике конкурировал с числом государственных банковских билетов, так что виды «воздушной Венеции» на них давно подверглись инфляции и их уже никто не помнил, именно потому что они изображены повсюду, ибо память экономит за счет зрения. Кроме календариков, осталась еще одна примета того великолепного времени: над городом висели целые павильоны, пустые платформы — грандиозные остатки Международной Архитектурной Выставки. Даниэль, не отметившийся в Гаванне ни единым днем, безусловно, был самым лучшим ее заочным экскурсоводом и краеведом. Существой такая наука, полностью отданная под Гаванну, во всем мире Даниэль был бы самым молодым ее академиком.

Расклеванные джинсы, рубашка небесной синевы, в изгибе локтя плащ, сумка с фотопринадлежностями, туристический рюкзак, провезенный контрабандой. Темноглазое, молодое лицо, крупный, фигурный рот: красивый был бы рот, не подпорти его гепардовая усмешка. Она была сама по себе, эта усмешка, врожденная, неисправимая, даже усталость не снимала ее. Невольно улыбаясь, входит Даниэль в город.

Городок, ах городок Гаванна, когда-то туристическая столица, шумит уже не так оживленно: полусонная чепуха приморского города, в котором заходящий раз в полгода круизный лайнер — самое высокое здание; в котором чувствуешь себя богачом с запасом хорошего настроения и недель отпуска; в котором жители не спешат, а лениво путешествуют из магазина в магазин, школьники играют в футбол, выбегая на дорогу, а грузовик с мебелью остановился, чтобы пропустить черного кота, и светофор ему не указ. Не спешит редкий в несезон

турист, пенсионеры одурачены детьми и собаками; мяч выскакивает с баскетбольной площадки выроненным пирожком и, глаза на весь мир, процокивает проезжую часть к набережной.

За привокзальной площадью Даниэля окружают мальчишки, набивающие рекордные тысячу ударов: носок-колени-пятка. Проходит мулатка — толстогубая, широконосая, с длинным бедром, в раскачку которого вписана выверенная функция обольщения — плавно на тебя поглядывает. Ты плывешь по ночной дороге, а она следит за тобой, эта мулатка-ночь, смаргивая: тучка, луна, тучка, луна, — следит за тобой, без всякого стеснения, без невротизма городского человека, избегающего смотреть в глаза. А мулатка смотрит, потому что умеет, пока не исчезает. Горячая мулатская ночь погасла, ты стоишь посреди яркого полдня, растерянным взглядом ловишь надписи на вывесках, к которым возвращается детская привычка быть прочитанными задом наперед.

Покачиваясь, яхтой подплывает «шевроле» пятьдесят восьмого года, и таксист предлагает отвезти тебя на край света. Ретро-автомобиль уже давно отстал от прикладных средств передвижения, он плывет, выкрашенный в яркие лодочные цвета, и это вам не какое-то там авто, а амфибия, выбравшаяся на цыпочках на сушу, и, по привычке покачиваясь, танцуя на воображаемых волнах, форсирует перекресток, причаливает к тротуару, огибает по длинному фарватеру клумбу. Говорят, что они как роскошные, неповоротливые черепахи — нет, совершенно нет, ведь они не спешат, не буксуют, не летят куда попало, но неспешно идут враскачку, — зачем примерять к ним современную, такую угловатую, бедную эргономику? Но Даниэль отказывает таксисту и пешком удаляется к гостинице, в которой у него забронирован номер.

Вот, говорит себе Даниэль, это тот самый город твоего детства, в котором ты никогда не был. Он входит под вывеску «Cater-Pillar», переступает под звон колокольчика выкрашенный синим порог, запах домашней кухни занял гостиную, переделанную в лобби колониального стиля. Пол в шахматную разбивку, старомодные стулья, столики и креселки, в колониальном стиле арки, люстра и темпераментная окраска стен, скачущая из комнаты в комнату розовым, голубым, зеленым. Интерьеры в частной гостинице Катарины Пиллар заведены на колониальный лад.

— Проходите! — встречает его молодая хозяйка, она же шеф-повар, администратор, менеджер и бухгалтер.

Достаёт перекидной блокнот и строго взглядывает на нового постояльца, приблизительно оценивая по своей катерпилларовской шкале. Миловидный, но уж больно высокомерный, особенно этот рот, как будто заинтересованный в тебе, Катарина, насмешечка, погибель твоя, Катарина Пиллар, — так вздыхает про себя хозяйка. Остановилась пока на том, что черкнула в блокнот «удовлетворительно».

— Итак, вы у нас Даниэль Брюль? Ваш номер на втором этаже. Синий апартамент. Позвольте багаж.

На звонкое «Томи!» прибегает гостиничный мальчик. Пока хозяйка показывает лобби, кухню, внутренний дворик, он тащится за ними с багажом, отстав на лестнице.

Вот и апартамент, синево́й вписанный в лазурь за окном. Катарина важно посматривает на новичка: «Мол, мы-то здесь уж знаем толк в живописи. Поняли намек? Это ведь у нас тут Мастера, а не где-нибудь там Мастера. А вы ведь за этим сюда приехали, за Мастерами?»

Даниэль выглядывает в окно, улыбается, — ах, какой рот, какой рот! — кивает, за Мастерами, знамо дело, зачем же еще? Вот она, в общем-то, мечта всей твоей жизни, Даниэль. Работать в архитектурном заповеднике, выгуливать пса на набережной, встречаться с друзьями на пирсе, спешить на свидание в заповедник, в обеденный перерыв следить за тектоническими усилиями отсветов витражей отползти от железнодорожного Сан-Марко к площади. И, конечно, эти много-ярусные острова, железные острова над головой, насквозь проросшие садами, лесом, знаменитым Прогулочным Парком, перекинувшимся на полтора островных этажа в небо. И маяк, вынесший себя в заглавие самого высотного острова — Маячный — на самом отдаленном пике, — чтобы не собирать здесь архипелаг погибших дирижаблей.

Хозяйка, восхищенная нежностью момента, оставляет комнату. Новый жилец заслуживал оценки «отлично».

Едва успев сказать «Привет!» новому жилью, Даниэль выбегает на улицу. Хозяйка телеграфирует с кухни: «Поздно не приходите. Не опаздывать. Не...»

Даниэль спешит. Уже известно, что скоро закроется и первый, пока еще легально доступный уровень. Вышагивая спортивной ходьбой, Даниэль улыбается знакомым городским видам. Улыбаются в ответ витрины.

Последний год по местному законодательству был 1972. Город застыл в семидесятых: без мобильной связи, без интернета и кабельного телевидения. Мировой бесплатный эфир раздает радиомызыку и расписывает скудную сетку теле вещания. Аналоговым носителям никогда не придет на смену «цифра». Когда эксперимент с «воздушной Венецией» провалился, вместо него затеяли другой. Гаванну объявили временным заповедником, законсервированным так, будто календарное время иссякло. Не иссякло. Ему пережали доступ. В том была ирония, что если «архитектурные теоретики» предполагали, что в Гаванне фокусируется будущее, пусть пока не зримое, помещенное в картины Мастеров, то музейные практики, словно в отместку, решили заархивировать в городе прошлое. Сюда со всего света стали свозить вещи родом до 72-го года. Летоисчисление вели теперь так: 1972+. Или, например, просто +40, как значилось в билете Даниэля. Запрету подверглись потомки всех вещей, их эволюция прекратилась, их ДНК должна воспроизводиться буква в букву, без ошибок, согласно генетическому изводу 72-го. Единственным островком современности остался район вокзала, где медицинский центр и вертолет на экстренный случай. Временная таможня, в два этапа следившая, чтобы ни одна новая вещь не проникла в Гаванну: на первом этапе человек, отправляясь в Гаванну, в специальном магазине закупался вещами «извода 72», в специальном, Гаваннском, посольстве. Путешественник получал сертификат и визу, без которой сесть в поезд было невозможно. Вторая часть контроля — в здании вокзала. Несоответствующих тут же заворачивали обратно, в современность. Желавших приехать на поезде в прошлое, полномасштабно поностальгировать с каждым годом становилось все меньше. Заповедник ветшал. Люди, оказавшись в нем по естественной причине рождения, уезжали на «материк», где все было настоящим, современным, а для них, узников прошлого, — будущим. Синхронизируясь со всем остальным миром, они покидали Гаванну навсегда. В отличие от Даниэля, который родился как будто с душой из семидесятых и теперь словно вернулся на родину. Гаванну охраняла Международная конвенция и специальная директива ООН. Провоз новых вещей был запрещен. В былые годы временная полиция следила за этим очень строго. Но несколько лет назад, когда обнародовали сумму дотаций на поддержание убыточного заповедника, решили постепенно сворачивать эксперимент с музеем под открытым небом. Туристический поток сначала резко вырос, а теперь плавно угасал.

Даниэль за месяц до поездки закупились в магазинчике новеньким сертифицированным прошлым: брюки-клевш и все остальное, а заодно приобрел четвертый цеппелиновский альбом, как раз 72-го года: винил, отпечатанный пару месяцев назад, с потертой обложкой и поцарапанными по стандарту дорожками. В графе визы «Цель приезда» стояло: «Командировка по заданию журнала National Geographic». Хотя на самом деле Даниэль числился штатным сотрудником мелкой газетенки, никак не относившейся к печатному гиганту, и настоящей его целью была, как выразился Треф, «контрабанда истины».

Попасть на уровень Номер Один можно просто купив билет. Высота сто пятьдесят метров достигается, согласно теореме Пифагора, по диагонали примерно за пятнадцать минут подъема в стеклянной кабинке. «Музей левитронно-экспериментального комплекса Архитектурной Выставки» туристы пробегают насквозь, почти не останавливаясь, устремленные на смотровую площадку. Здесь остались фотографии первых венецианских кварталов, панорама ярусных работ, залежи копеечных календариков, не выкупленных за полвека, стенды с макетами уровней, куда вход уже закрыт, да полтора стеллажа со скупой библиографией по теме. Скучные монографии о Мастерах и левитроне. Картинную галерею недавно свезли в город. Повсюду очевидно запустение демонтажа. Скоро закроют и первый уровень, тогда инсталляция из железных тросов, платформ «воздушного металла» и всего остального, чего горожане видеть уже почти не в силах, повисит еще некоторое время, словно заброшенная космическая станция, да и пойдет под нож газовых горелок. Неведомо какой тоннаж над головой — тот еще дамоклов меч, висящий над мэрией. Давно пора сдать его если не в музей, то на свалку.

Среди сегодняшней группы посетителей Даниэль был самый не случайный. Со скучающим видом он шел в конце группы, потом, преодолевая зевоту, спросил гида, как вернуться обратно, и нарочито лениво покинул музейные покои, похожие на оранжерею. Дальше начинались чистый риск и везение. Треф снабдил Даниэля весьма точным планом первого уровня. Если второй и третий были очерчены очень примерно, то первый снабжен дотошным метражом с указанием, где и когда бывает охрана. Свернув после оранжереи, Даниэль сразу сменил манеру — присел, быстро осматриваясь. Вот сторожка — пригибаясь,

обежать ее строго против часовой: с той стороны нет окон. Зайти в техническое помещение, из него два выхода внутрь яруса — пройти в первый слева. Это самый опасный участок. Тут в основном и палятся «бегуны». Сначала тебя пускают метров на сто, чтобы ты дошел до аварийного лифта, а потом, там, где самое узкое место между оголившимся до скелета каркасом и краем яруса. — тут-то тебя со смехом берет охрана и под белые ручки сопровождает на этом самом лифте прямо в руки временной полиции. Так что сразу и не скажешь, повезло тебе или тебя уже давно ведут, — и, зажмурившись, подходишь к этому узкому моменту. Треф уверял, что ходил этой дорогой и что самые наглые, которые не замедляются, а, наоборот, пробегают отрезок не щадя ног, попадают в «рай», а именно: вглубь первого яруса. А дальше пойдешь, куда захочешь, хоть на остров Маячный. Даниэль задержал дыхание. В сумке у него чистая контрабанда — альпинистское снаряжение. Если сейчас не повезет — будет много неприятностей, никто его не выручит из беды. Выдохнул. Пригибаясь, побежал, чувствуя, как быстро потеет в непрактичной одежде. Но спортивная подготовка не подвела. Эту стометровку он одолел на чистой технике, почти не сбив дыхания. Остановился, выпрямился и прошел между двух пропастей на крейсерской скорости. Только на мгновение показалось, что за спиной вскрикнули. Впереди рыскала в траве тропинка и терялась в акациевой рощице, которую еще не вырубил, хотя Треф говорил, что рассчитывать на нее почти точно не стоит.

В «раю» начинался закат. Первый, нижний ярус, простирившийся от скалы до набережной, выдвигался в море. На самом его краю сидел Даниэль, совершенно опьяненный невесомостью, в которую попал. Он был словно на облаке, ничем не привязанном к закатившемуся под ноги морю. Слева убежали в небо террасы — сколько их: семь, восемь или все одиннадцать? Справа, еще не касаясь горизонта, пульсируя черными пятнами, стекал небесный желток, оставляя в облаках терпкую, умиротворяющую горечь.

Преодолевая головокружение, смотришь вниз: берег с проплешинами пляжей резко взволакивается по скалистым зубьям, отпрянывает от парашута набережной, вторгается в «старый город»: колониальная архитектура испанцев, бросивших каменные огрызки форта. Отметились и англичане с французами — «невольничьей» тропой, теперь это променады набережной. «Голландским кварталом» называется

рынок. В современной планировке угадываются окаменелости первых португальских поселений. А вот и Сан-Марко, приземлившийся парашютами куполов прямо в залив. На Даниэля накатило то сырое, свежее, почти отслужившее ощущение старого, давно испытанного счастья, которое охватывает человека весной, слабого, еле держащегося на ногах — после болезни, или осенью, когда яркие выходы солнца сопровождаются неизбежным, детским, повторяющимся чувством счастья при виде окрашенной листвы, травы, нахмуренных облаков — такая возникает при виде их жалость и радость, вдобавок к сходным детским воспоминаниям. Счастье — вот оно, когда кроме этого осеннего дня больше ничего не надо и заглядывать дальше него тоже нет совершенно никакой необходимости: все, что нужно, уже здесь и принадлежит тебе.

Даниэль вздохнул. Разве сможет он покорить этот новый головокругительный мир? У него только и есть, что поддельная виза, которую через знакомых забацал Треф; он — недавний выпускник журфака и сотрудник самого скучного и нищенского в мире печатного органа, даже на билет ему одолжил тот же Треф.

— Тебе-то и нужно всего лишь пройти «летающие острова» снизу вверх, время от времени фотографируя, — инструктировал его Треф. — На втором ярусе встретишь «гидов», одному из них передавай привет, на третьем ярусе — коммуна хиппи-художников, вдохновляющихся видами моря и городка. Есть ли поселения до Маячного — не знаю, вестимо, есть, но совсем вымирающие группки. А поднимешься на Маячный, на седьмой ярус, — там до сих пор держится деревушка инженеров во главе с Главным Архитектором — те, кто строил «острова» и решил на них остаться. Эти люди ни за что не покинут свое место... Не сегодня-завтра начнут «зачистку» ярусов, платформы доживают последние времена, поэтому, Даниэль, если еще хочешь увидеть мечту своего детства, поспеши. Сделаешь репортаж, даю слово, пробью его в National Geographic. А дальше — держись: прощай, газетенка, здравствуй, журналистская слава, путешествия по всему миру, блестящая карьера. Как у нашего общего знакомого.

— А почему сам не сделаешь этот репортаж? — спрашивает Даниэль.

— Мое время рисковать прошло, — вздыхает обрюзгший Треф. — У тебя отличная спортивная подготовка, ты альпинист и канатоходец. В фотографии знаешь толк. С детства фанатеешь от «воздушной Венеции», все там знаешь лучше любых путеводителей. Лучше тебя в

этом деле кандидатуры нет... Не забудь обо мне, когда поднимешься наверх...

Треф, конечно, шельмоватый журналюга, но вот он помог Даниэлю с визой и контрабандой альпинистского снаряжения. Снабдил контактами «гидов». А этот их общий знакомый, кстати, не без помощи Трефа сделавший репортаж о средневековой фотографии, а потом опубликовавший его в NG, действительно прославился — и без преувеличения на весь мир.

Уже темнело, когда Даниэль шел вглубь острова. И надо же было собрать такую огромную махиницу. Тогда ведь был не только один этот город-эксперимент. Целые заводы пыхтели над изготовлением левитирующих уровней, которые развозили по всему миру. Просто здесь самое удачное место. Десять лет проводили Архитектурную Выставку, сооружали ярусы, завезли дюжину венецианских кварталов — как раз под занавес этого бума.

За десятилетие аэрогравитационных технологий город-выставку посетили миллионы туристов, профильные специалисты, вездесущие инвесторы. В Гаванне обосновались бесконечные международные фестивали, симпозиумы, конференции. Давос, Канны и оригинальная Венеция на некоторое время потеряли свое лидирующее значение. «Воздушные мастерские» входили в зенит славы. Считали, что их распространение — что-то вроде побочного эффекта от новых технологий. Когда Венецию накрыло крупнейшее наводнение — два с лишком метра *acqua alta* — вопрос о переносе решился сам собой.

Когда архитектурная комиссия выяснила, что строить выше третьего яруса опасно, их было уже семь, а то и больше. Точно ведь неизвестно. Ярусы тут ступенчатые, местами три, пять, местами семь. Распиленную Венецию, которую по воздуху, как на санях, стали развозить по всему миру, сюда завезли больше всего...

Даниэль тронул влажную поверхность скалы. Второй уровень нависал низко, метрах в тридцати. Тросы и металлические конструкции, перекрытия, все исподнее устройство было видно очень хорошо, вплоть до сварочных швов и волосков лопнувших канатов. Раз в неделю комиссия обследует состояние тросов и фон «магнетона», излучаемого «левитационным» материалом. В сторожке на постоянке несколько охранников. Но они с «гидами» не ссорятся и не гоняют их. Наоборот, всячески сотрудничают, но, конечно, втихаря. Этот «магнетон»,

кстати, — еще одна головная боль мэрии. С него и начался закат проекта «воздушной Венеции».

В ту июньскую ночь, когда молния ударила и подкосила часть платформы Дорсодуро, три вертолета трудились над ней, будто катерки над горящей баржей, по наклонной оттаскивая к морю, уводя как можно дальше от города. К утру квартал затонул за ближайшей скалой. Над прибоем скашивалась крыша палаццо. Через полгода его поднимет и отреставрирует фонд Пегги Гутгенхайм, вложив первую рекламную лепту в проект по спасению мирового наследия. Позже корпорации и компании поделят и разберут все дворцы и кварталы, сделают их своей собственностью. Ирония заключалась в том, что оригинал, настоящая Венеция, в свое историческое время от пожаров страдала чаще и обширнее, чем от наводнений. Многочисленные венецианские пожары, пожиравшие церкви, дворцы вместе с их ювелирными сокровищами, отозвались здесь единственным схожим происшествием, положившим конец «воздушной Венеции». Не успела уполномоченная комиссия расставить по пунктикам выводы, а распиленную Венецию уже растаскивали по частям. Нью-Йорк, конечно, заграбастал самые лакомые вырезки: Сан-Марко с площадью, Кампанилой и Дворцом Дожей вкопали за Баттери-парком, как водится, возле водицы, на набережной, за которой в небо вламываются небоскребы. Париж приютил несколько кварталов возле Сите и в Бельвиле. Лондонский Хемпсед-Хит взял на вечное хранение дюжину дворцов Большого канала. На Каменном острове Петербурга среди старых и новых дач поставили церквушки: Санта Мария деи Мираколи, Мадонна дель Орто. В Тимирязевском парке и Ботаническом саду Москвы были удочерены Сан-Дзаккария, Скуола ди Сан-Джорджо. В международную программу включились Гонконг, Дубай, Шанхай, Токио, Рио. Штаты, спонсировавшие половину всех расходов, поступили по-американски: превратили новоселов в еще один аттракцион.

Подобно тому, как когда-то на пике могущества Венеция сама грабила весь мир — Египет, Персию, Сирию, Грецию, — подобно тому, как затем уже наполеоновские войска грабили Венецию, вывозили бронзовую квадригу с Сан-Марко, которую еще раньше Венеция вывезла из Константинополя, — точно также теперь ее грабили богатейшие города мира, распределяя ее самое по выставочным площадкам площадей и пустошей. Только запасников не

было. Словно разбитый на черепки ковчег, разъятая, распятая по новым мировым полюсам, Венеция отдала себя во имя новой мировой культуры, сама воплотившись в метафору культуры — то, что сохраняет прошлое: разграбленная, растащенная, но именно в таком виде и создающая новые связи, разнесенные на тысячи километров, новыми магнитными полюсами натягивая линии напряжения, по которым заструится творческая энергия, созидавая сети уже новой Венеции, новой культуры. Столетиями мечтала Венеция, сиятельнейшая, светлейшая Серениссима владеть миром. И только тогда воплотилась ее вековая мечта, когда она перестала существовать дважды — как город на карте и как город-инсталляция, буквально раскинувшись по всему миру рыбацкой сетью, заброшенной на ветровые рабочие шпили мировых небоскребов: Нью-Йорк, Лондон, Гонконг. Серениссима когда-то, стала она исчезнувшей, тишайшей, незаметнейшей, невидимейшей. Будучи предтечей каменных джунглей будущего, с горсткой деревьев, с щедеушной природой, Венеция сто восемнадцатью островами исконно стояла на границе моря и неба и могла бы наконец воплотиться небесной фреской. Но не случилось.

Мимо страховочного крюка, отмеченного Трефом на плане, Даниэль прошел дважды. Только тщательно обшаривая скалу, вслепую скользнул пальцем в незаметное железное ушко. Тремя метрами ниже в трещине заметил такое же. Потом еще. Не одно поколение «гидов» ходило этими альпинистскими метками. Обычно трос крепили ночью, чтобы тут же подняться и сразу смотать. Узнать без наводки про эту пунктирную цепь, крепленую в трещину еще первыми «гидами», было невозможно. Даниэль шел один, связи с нынешними «гидами», сидевшими на втором ярусе, у него не было, его сюда не звали, и, оставляя веревку, продетую через цепь крюков, он, конечно, рисковал не только собой. Пусть охрана бдит уже не так тщательно, как еще года два назад, но, оставляя трос в открытую, он мог подставить и «гидов», и Трефа. Сутки спустя здесь ему предстоит подняться через первый уровень на второй, «гидовский».

Книзу ноги заскользили чаще: заморосил ночной дождик, поднимающий настроение. За городом таилось море, поймавшее луну в мерцающий серебром сачок. Тянуло свежестью и влажными разноцветными огнями. Даниэль, покидая долину, возвращался в отель.

Катарина сразу заметила эту улыбочку, выплывшую из полумрака. Даниэль, чуть навеселе, тут же схлопотал от хозяйки мрачный «неуд». Но уже четверть часа спустя их мирную беседу во внутреннем садике развлекал гаванский портвейн со вкусом изюма. Даниэль рассказывал о детских мечтах, о присвоении себе гражданства «воздушной Венеции», о том, что журналистика привела его сюда, чтобы... Тут он уводил разговор в такой замысловатый водоворот, что Катарина, жмурясь, убаюканно склоняла голову и гасла от его улыбки.

Если считать каждый сон за лист, спрашивал Даниэль, то в книгу какой толщины сложатся главы сновидений? В эпоху, когда он сознательно перевел внимание с ночных образов на дневные слова, когда, поступив на журфак, втянулся во вредную привычку исподтишка открывать обложки ночных глав, переводя их на дневную цифирь букв, разве стал он счастливее? В сквере журфака, где сочинялось его первое эссе, где переводные кальки слов будут обозначены жалкими риторическими фигурами, солнечный свет похищал напитанные сновиденьями минуты. В них была розовая акварель высоты, воздушная Венеция, и он почтальоном на велосипеде инспектировал многоярусный, многоэтажный город, островами плававший над рогаликом морского залива. Здесь было много высот, много городских уровней, среди которых расквашивались сады, колониальная архитектура Южной Америки, шесты воздушных причалов — к ним крепились дирижабли. Тут был тихий уровень, и ветреный уровень, и уровень сыпучих облаков. И он с мольбертом и красками взбирался на подножье заброшенной библиотеки, возле исхода лестницы в небо, сопровождаемой статуями афинских академиков, и рисовал, рисовал, с рассвета до полуночи, когда над городом будет изнутри зажжена летающая инсталляция из бумажных фонарей. Он рисовал женский силуэт, преследовавший его взгляд от одного края города до другого; рисовал море, ползущее внизу в прилив и отлив, и как приходят поезда на многопоточный железнодорожный терминал с тысячью направлений и выполненный в виде космических куполов венецианского фаянсового Сан-Марко. Он жил там уже тысячи лет, до этого моря, до города, до самого себя.

Катя в ответ на широкие журналистские жесты рассказывала о своей обыкновенной жизни, о перешедшем по наследству доме, о том, сколько было забот, чтобы устроить его как гостиницу, умолчав, правда, что в этом помогли ей власти, что о своих постояльцах она доносит в пользу временной полиции.

«А все-таки какой он красавчик, какой красавчик — этот Даниэль Брюль».

Он слишком нравился ей, этот непонятный, устремленный в прошлое человек. Катарина вернула ему сразу два балла и впредь опрометчивых выводов решила не делать. Расстались они, по ее мнению, совсем друзьями.

Еще до трех Даниэль вернулся из «старого города». На ожидание звонка по межгороду ушла половина свободного времени. Разговаривать в гостинице, по словам Трефа, все равно что позвонить напрямую в длинные хозяйские уши. Можно подумать, на телеграфе у трубки уши короче. В конспиративной сводке, стоя в душевой кабинке с бумажкой в кулачке, Даниэль передал составленную утром абракадабру, получив в ответ ничуть не хуже, попутно припоминая, не сболтнул ли вчера ночью лишнего.

Потом он гулял по длинной набережной, знаменитой своим выгибом, с которого когда-то открывались плафоны церковных куполов. Сейчас вместо них зеленели дички роцц, то и дело пугавшие одну и ту же стаю ворон. Впереди под ручку шла состоятельная пожилая пара из приезжих, потрафившая себе снобским тарифом: шитая на заказ одежда из тридцатых. И их гостиница, наверняка, в конце набережной, где взгляд прямо на Маячный и всю эскападу террас. Самый дорогой вид в городе. Пенсионеры из богатеньких стран. Променады, как ситечко, сеял редкую стайку людей, проживших современность в далеких будущих странах.

Оглянувшись, Даниэль увидел город, живший в своем прошедшем времени. С заводиками сахарного тростника, пахучими маслобойнями, разными сдобными-мясными производствами. А чем выше, заметил Даниэль, тем тише. Тем больше преобладает форма и цвет в ущерб каждодневному производственному смыслу.

Забежав в отель, Даниэль снова, как с утра, был растерян. Забыл, зачем зашел. Треф, шифрованная записка, рюкзак, восхождение, еще один, последний круг по городу. А вместо этого стоит и смотрит на стену с фотографиями. Люди на них как бы намекали: «Здравствуйте. Мы за вами шпионим. Никакого секрета тут нет. Пожалуйста, не обращайтесь на нас внимания. Проходите мимо». Постояльцами они уж точно не были. Хозяйка понятия не имела, что это за персонажи,

так бесцеремонно развешенные по гостинице. В коридоре, например, висели Кафка, Эйнштейн, Хемингуэй, Вирджиния Вульф, все сверху зачем-то надписанные. Кафка смотрел благожелательно, с полуулыбкой, в шляпе, едва наклонив голову. Сквозь нежную улыбку из него просвечивала вечная женственность, такую фотографию могла бы послать девушка своему жениху. В «синем апартаменте» Даниэля висел внимательный Пруст, приложивший пальчик к щеке и котовыми глазами следивший за всеми перемещениями постояльца. Выходил он из ванны или оборачивался от зеркального шкафа — писатель выжидающе смотрел, не отводя глаз и не моргая. Вернешься из коридора перед выходом на улицу: не забыл ли чего, — и тут тебе внимают эти глаза. Подумаешь: «Ну чего ты смотришь?» — и забудешь, зачем вернулся. В поисках потерянного времени? Катарина вряд ли без ума от модернизма, будь Пруст хоть трижды стражем плюсквамперфекта.

В нетуристических районах все еще бросались в глаза агитационные плакаты. Местным в эпоху развитой «Доктрины-72», вменялись в обязанность, например, такие восклицательные императивы: «Выявил будущника — сообщи временникам!», «Бди — сохраняй прошлое!» Человек, обряженный в фантастические шмотки, понуро бредет на фоне двух образцово старомодных полицейских-временников. «Контрабандой будущего не разживешься в настоящем!» — из почти такого же рюкзака, как у Даниэля, набитого под завязку, торчат и выпадают аморфные, звероподобные вещи. Да и сам будущник на плакате своей ухмылкой уж очень напоминает Даниэля.

Зашел Даниэль в «Музей Мастеров». В угоду Доктрине все, что не «венецианское», отправляли из музея на «материк». Картины Школы Даниэль встречал в разных галереях. Самой Гаванны на них почти нет. Схематичные кварталы, намек Маячного, конечно же, изгиб набережной — словно неизбывное, неизбежное дежавю, над которым торжественно сияющими облаками изображены три тысячи вариаций все новых и новых городов. Агитплакатчики, конечно, были с ними знакомы и восхищались ими, но тут же передразнивали в своих размалеванных памфлетах. В каком-то смысле картины, выставленные в Гаванне, — тоже контрабанда будущего, украденного у города. В музейных залах туристов больше, чем во всем городе. Феномен Мастеров прекратился, как только его заметили, а после введения Доктрины, само собой, никакого будущего, даже нарисованного, быть здесь не

могло. Школа рассыпалась, мастера погасли, говорят, разъехались по всему миру, но о них больше не слыхать — видимо, и правда, есть какая-то сила в Безымянной Скале над городом. Удалившись от Скалы, они отошли и от силы.

Даниэль уже выходил из музея, когда его догнал человек. Оказалось, сосед по гостинице, вселился вчера под вечер, да-да, украдкой видел с вас с хозяйкою, изъяснявшихся ночью под пальмами. Он бывал тут множество, да-да, именно множество раз, но теперь, видимо, увы, — вздох — в последний. Высокий, с такой узкой головой, демонстративно разделенной осью великолепно развитого носа, что лицо как будто отстает от него, как волны от выдающегося мыса корабля.

Даниэль с удовольствием поговорил бы, хоть бы и с полчаса, но спешит в гостиницу. В таком случае, имею честь представиться: Веларий Филлипс, искусствовед, планирую побродить по знакомым местам, а потом, на закате, забрести в самую дальнюю часть города, где суша сходится темечком в точку, обрываясь в море и небо. Наблюдать воздушные острова. Даниэль представил, как узкое лицо и нос, должно быть, очень точно впишутся в оконечность города.

— Тогда до вечера? — спросил Филлипс.

— Боюсь, что нет...

— Уже уезжаете? — подозрительно спросил искусствовед.

«Узкое лицо всегда кажется подозрительным», — подумал Даниэль.

— Да нет. У меня друзья в городе. Погощу день-другой.

— Э-э-э, как жалко... — Искусствовед задумался. — Тогда, пожалуй, вот что. Я хотел вам кое-что сообщить...

Даниэль напрягся. В этом Веларии чувствовалась какая-то дополнительная, что ли, осведомленность, будто главное он оставлял на потом.

— Знаете, что я хотел сказать?.. У них особая духовная практика, у этих Мастеров, она позволяет рисовать будущее...

«Вот в чем дело, — догадался Даниэль, — очередной мистик». Он встречал статьи про эти духовные практики, особенные медитации, дыхательные упражнения на рассвете на Пятом уровне, курительные палочки из травок Шестого уровня, от которых у девушек раскаляется голова.

— Я так хотел бы с кем-нибудь из местных поговорить об этом... Очень прошу вас, когда встретитесь с вашими друзьями... — Филлипс сделал неприлично длинную паузу, чтобы Даниэль понял намек. — С друзьями если встретитесь... обязательно расспросите их об этом.

И чем подробнее, тем лучше. Или запишите... — Филлипс осмотрелся. — Вот вам... штука...

В руке Даниэля тут же очутился металлический прямоугольник, ловко выскользнувший из рукава искусствоведа, чуть больше спичечного коробка. Цифровой диктофон. Даниэль сразу узнал, что это, видел такие у журналистов. Профессиональная вещь, очень дорогая.

— Знаете, что... — Даниэль взял Филлипса за руку и вложил в нее диктофон. — У меня очень хорошая память. Все, что я слышу, я запоминаю наизусть.

— А-а-а... — уязвленно протянул Филлипс и процедил, затравленно оглядываясь: — Ну, тогда запоминайте лучше.

«Видимо, сразу разгадал, что я либо из «гидов», либо иду к ним. Подозрительная рожица. Может, вообще провокатор. Хвать за руку и: “А теперь составим протокол о сношении с предметом из будущего”. А, может, зря. Может, вполне приличный гражданин. Но вещь-то все равно контрабандная. А ведь как хочется узнать про этих самых Мастеров, а?»

До Зимних Бань Даниэль взял такси, оттуда переулками и сквозными дворами вышел к долине. Рюкзак, заправленный снаряжением и пропитанием на несколько дней, Даниэль тащил почти с муравьиным мужеством и терпением. Днем в долине с такой поклажей не появляйся, сразу привлечешь внимание. Но сейчас вечер. А в гостинице час назад, когда Даниэль оставлял на столике в лобби записку для хозяйки, стояла такая райская тишина, такой блаженный час, когда каждый занят своим делом, мало заботясь о ближнем своем. Канат, заправленный в трещину, был на месте. Следовало разделить вещи на несколько частей и поднять в два-три захода. Потом, уже с первого уровня, повторить. А дальше пойдет проще. Только бы не дождь и не ветер. Карабкаясь на второй уровень в первую ходку, Даниэль заметил несколько вспышек света. Охрана обходила территорию. Минут через пятнадцать будет здесь, если, конечно, заглянут. А ведь заглянут. По скале как раз и ходят незваные гости. Но кто скажет — в кои-то, черт возьми, веки ходили они в последний раз? И кому вообще туда надо соваться? Сколько разумных доводов ни придумывай, а фонари вспыхивают все ближе. Даниэль приник к скале. Рюкзак, брошенный без всякой предосторожности, заметят сразу же. А не заметят, обязательно заденут. Это же не рюкзак, а целый автобус. Еще

минут пять-шесть... Две-три минуты... Фонарики остановились, пробежали по скале. Даниэль, считай, уже во владениях второго яруса, считай, уже не принадлежит первому, где охрана, которая пусть бы и обнаружила его, и предательски захапала, но только раньше, внизу, а не сейчас, когда осталось, считай, метров десять, не больше, когда он прошел две третьих, — и тут уж не могут, не должны, не имеют такого подлого права взять и остановить его... Пусть найдут рюкзак — не жалко... Только бы не заметили канат, который внизу уже начинал раскачивать ветер. Послышались голоса. Фонарь остриг верхушки кустарника и выскочил в пустоту. С моря эхом на вспышки отзывались молнии. Все равно гроза придет позже, чем его заметят. Но минута, и вторая — и уже слышен ветер и глухой гром. Теперь Даниэль рисковал сорваться вниз. Уже не таясь, он, всю работу руками и ногами, поднимался к зазору между скалой и верхней платформой. Из-под ног сыпался камень, и несколько булыжников явно с удовольствием вывалились из породы.

Ливень здесь почти не чувствовался, а вот ветер бушевал всюду, и не оставалось ничего другого, как дожидаться, когда гроза пройдет. Даниэль отошел от скалы, пошевелил пальцами в кармане, что-то нащупывая. Ветер такой, что говори хоть во весь голос, внизу все равно не услышат. Даниэль приложил к губам свисток, крошечный мундштук, выдал из него несколько длинных, пронзительных, похожих на вскрик неизвестной птицы, сигналов, не надеясь на ответ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У кошки смотрителя, пропавшей при полном обрушении Кампанилы собора Св. Марка в 1902 году, было девять жизней. Утратив родную башню, оставшиеся восемь она, словно котят, по-одному перетаскала в церковь Сан-Сальвадор, где и потратила их по своему разумению. Близость воды не мешала пушкам и муркам любить Венецию. Лев крылатый, как известно, символ города, а венецианские львы, отразившись в киноленте водной ряби, раздробились на бесчисленные выводки котов. Еще не написана настоящая история венецианских мурок и пушков, которые попали на авиационные острова, да так и остались, дробясь потомством, но уже не отражаясь в лагуне. Вместе с людьми они обживали воздушные ярусы, а когда люди ушли, то

решили, глядя на птиц, сеявшихся по рощам и лесам, дожждаться, пока у них не отрастут львиные или хотя бы кошачьи крылья. Клань местных котов различались по цветам, мастям, длине шерсти. Больше осторожные, чем любопытные, они со временем забредали в места, подвешенные на один стальной волосок. Коты, которые, как известно, не терпят пустоты, заполняли острова, как вода заполняет трюм тонущего корабля. Иногда больше любопытные, чем осторожные. Но даже самый любопытный кот возвращается к хозяевам. Ему, знаете ли, предпочтительнее не крылья, которые неизвестно, вырастут ли, а знакомство с тем, кто знает, где прячется еда. Таким был и Холмс, британский короткошерстный, который из любых мест всегда возвращался к хозяйке. «Ну что, — лепетала она ему с утра, оголодавшему, пахнувшему высотой и пустотой. — Снова морозное утро наступило? На улице — ни-ко-го. Вот так-так. Что бы это все значило? Как вы думаете, Холмс?» Но Холмсик, как обычно, ничего не отвечает. «Да, было бы неплохо слетать в теплые-претеплые страны, но когда-нибудь завтра. А сегодня можно и поотдыхать». Хозяйка Холмсика — прекрасная принцесса из башни, племянница доброго чародея, который давным-давно, по премудрой наивности, заточил свой народ на зачарованных островах. Принцесса была изможденно-худая, розово-прозрачная, с признаками альбиноса, как если бы существовала такая декоративная летучая мышь, в райских пенатах кружившая над орхидеей в лучах заката, столь же одинокая и осторожная, словно последний бесполой реликт древнего вида среди молодой чужеродной природы.

Но в ту ночь коты, конечно, прятались от урагана, проморгав прибытие Даниэля на острова. Музейщики радировали гидам: к вам непрошенный гость, оформите его как следует. Поэтому пароль «Я от Трефа» для трех вышедших встречать «незванчика» прозвучал некоторой неожиданностью. «Музейщиками» гиды называли всех официальных, связанных с островами: и охрану, и самих музейных работников. Гедеон, главный у «гидов», потом рассказывал Даниэлю, что они уже несколько лет сотрудничают с музейщиками и всех непрошенных, утекших от охраны, сами отправляют назад. Раньше было труднее. И за островами следить, и за потоком незванчиков, который был не в пример гуще: поди разбери, кто свой, кто чужой. Гидам чужие тоже не нужны. Вот они и подключались к патрулированию. Устраивали облавы, ночные рейды, особенно когда над ярусом за-

висал вертолет, обливая короткие перебежки незванчиков ледяным прожектором. Теперь спокойнее, охрана выходит нерегулярно, отлынивает, отмахивается: мол, мало кто сунется, а сунувшись, попадет к гидам, которые всегда знают, кто свой, кто чужой.

Гедеон любил тушенку. В рюкзаке Даниэля ее было навалом. Значит, его старания не пропали зря. В письме, зашифрованном известным только Трефу и Гедеону способом, Треф просил помочь своему протеже в путешествии по островам. Гедеон решил, что раз малый смог пробиться через кордон временников, через охрану, то почему бы не помочь. Правда, за последние лет двадцать никто так и не смог пройти все острова насквозь. Этот тоже помыкается и вернется. Если уж гиды не смогли... Гедеон, например, не смог. В молодости далеко не последний человек на возведении островов, инженер, специалист по архитектуре Гауди, он работал под непосредственным началом Главного Архитектора. Остался гидом. Сначала водил туристов по лицензии, потом все больше нелегально, зарабатывал хорошо, деньги отправлял семье на материк, большой особняк в Гаванне купил, сдавал под гостиницу, а когда острова окончательно закрыли, оказалось, на материке его никто не ждет, а тут под ним уже было полтора десятка гидов да и охрана тоже, считай, чуть не под ним. Какой-никакой начальник. Авторитет.

— Меня тоже манили эти красоты... Романтика... — говорил он, большой, с сальными боками человек. — Виды города с такой разной архитектурой: испанской колониальной, ар-нуво, понимаешь ли... Бухта эта. В море река впадает. Чем-то на Рио похож... Раньше лифты ходили на все уровни. Вот там можно попробовать. Если тросы остались. Но опять же сноровка нужна. — Уплетая тушенку, он приговаривал: — Это затишье перед бурей, скоро пойдут патрули выселять перед демонтажом. Но на последнем будут бороться до конца. Они, вишь ты, петицию в ООН подали. Мировое наследие, понимаешь... Этажом выше, — Гедеон тыкал ложкой вверх, — хиппи. Развели там, понимаешь, Хиппиленд. Али Хэппилен, а? — спрашивал он у спорого сухонького гида, помогавшего Даниэлю поднимать рюкзак. — Ну, не суть. Никто не знает, как они там живут. Уже несколько лет не было никаких контактов. А все, что выше них, даже не имею представления, как вообще выглядит. Трухляк. Жить там невозможно. Аварийные гектары, попревшие с краев и середины, все осыпается. Мы тут кое-как доживаем... Не-е-ет... Никак не пройти выше третьего. Все сгнило, обвалилось, осыпалось. Был бы у тебя «Хобблит», тогда, может, и...

«Путеводитель Хобблита» — легендарный справочник по островам. Со всеми «муравьиными тропами», которые оставили по себе строители. Карты, списки сквозных тросов, запасных ниш, аварийных спусков, межэтажных нор. У Гедеона был такой. Он его и доставал-то всего пару раз, далеко прятал. Берег на черный день. Думал, пригодится, если что.

— Что нас держит? Привычка. Красиво тут. Да и идти больше некуда...

Пять лет назад закон за сокрытие налогов отобрал у Гедеона гостиницу. Но Гедеон, человек мудрый, нашел, с кем договориться. Тогда последний раз и видел своего «Хобблита» — презентовал кому надо, вот и пригодился. Гедеона оставили в покое — мелкая власть лучше анархии. Платят ему, чтобы залетных гостей сдавал властям, а с богатых нелегалов сам отстегивает процент. Хорошо договорился.

Даниэль мрачно молчал. Мечта отодвигалась еще дальше. Гедеон обещал показать дорогу только до четвертого яруса, дальше он и сам не знал. Многое изменилось за последние годы, острова осыпáлись, омертвевшие без гравитона.

Фотографировать было слишком темно. Над сторожкой гидов открывалась дыра — словно в небесах облупилась штукатурка, обнажив древний звездный слой. Террасы навешивали друг над другом так, чтобы каждая верхняя была уже, поэтому и были видны звезды, черная неразбериха островов, а внизу плененная морем луна плескалась в садке.

«Вот так через годы и выглядит мечта — торчащими в стороны штырями и обломками, долгостроем рабочих лесов, порушенных временем. Идеальная оболочка отслоилась, отторглась, как космический корабль отталкивает и обжигает пламенем стапеля. Мечта оторвалась от земли, мерцающим зерном ушла в космос».

Наутро, переночевав в гидовой сторожке, Даниэль ушел к восточному краю острова, туда, где внизу начинались пирсы. Гедеон указал три места, с которых когда-то и сам поднимался в Хиппиленд. Хиппи он не любил, последний раз был у них, то есть на Богемском ярусе, десять лет назад. Еще подтянутый, поджарый, с «Хобблитом», спрятанным в дорогом особняке.

По пути Даниэль фотографировал рассвет, скудные пейзажи второго уровня — слабый перелесок, унылый ельник, мелкие песчаные дюны,

пылившие в сторону моря. Быстро позавтракав, повернул к Скале. Широкие толстые скобы — первая указанная Гедеоном «муравьиная тропа», — подржавевшие, но крепкие. Поднимаясь по ним, как по ступеням, Даниэль напевал «Stairway to Heaven»: жаль, что не контрабанду нес он с собой, — песня была записана в семьдесят первом.

Богемский уровень был далеко не так плох, как о нем отзывались гиды. Пейзажи — веселее, рощицы — чаще, в них уютными просветами круглились поляны. Уже час Даниэль шел среди луга по песчаной тропе, сторонившейся немаленького леса. Дальше над тропой вставала рукотворная радуга, заметно поблекшая, вымытая дождями, с яркой, подновленной надписью: «Happyland».

Ночная прореха в небесах оказалась одним из «воздушных прудов», обтянутым когда-то гигантским батутом. Богемскому острову повезло больше остальных — бывшее место увеселений, легендарный Прогулочный парк с дендрарием, ботаническим садом, «аптекарской слободой», полями для гольфа. Заброшенное, все это дичало в перелески, рощи, непроходимые леса. Выдержать такое хозяйство могли только мощные левитронные слои, постеленные здесь раз в пять плотнее. «Пруды» Даниэль потом видел по острову и дальше. Батуты, где устраивали цирковые представления и соревнования, конечно, давно сняли. Вместо них в центре одного «пруда» висела заклиненная ржавая кабинка. Даниэль ожидал, что вот сейчас с песнями и цветами со всех сторон потянутся к нему длинноволосые хиппи, в ярких балахонах, битническая песня под гитару оглохнет в кришнаитском заполошном хоре, его окружит и понесет волна запахов и счастья. Но навстречу попадались только посредственно ухоженные огороды с накренившимися палками пугал. Брюхом на земле лежал хипповской автобус, разрисованный мыльными пузырями и имевший на лбу имя — Felix.

Вместо дружелюбных хиппи из кустов вдруг выкарабкался какой-то индеец, выкрашенный в черное, а вместо цветочного венка в руках у него дрожало недвусмысленного вида оружие, стрела которого целилась прямо в грудь Даниэля.

«Харе Кришна, — хотел воскликнуть Даниэль подготовленное приветствие. — Я — странник-на-островах». Но, судя по всему, о Кришне здесь не слыхали. Не следовало нервировать чувствительного аборигена. Вместо этого он поднял руки. Индеец, не переставая дрожать,

показал на сумку Даниэля. Хиппи, должно быть, очень сильно изменились с классических времен, огорчился странник-на-островах. Едва Даниэль отдал аборигену сумку с провизией, тот позорно ретировался в лес. Без фотоаппарата, припрятанного в нагрудном кармане, а не без еды, — вот без чего путешествие теряло журналистский и документальный смысл.

Вскоре после инцидента Даниэль вышел к человеческому жилью, раздумывая, стоит ли вообще соваться в логово одичавших хиппи, которые в изоляции могли опуститься до каннибализма. К счастью, на ограде висели гирлянды не из человеческих черепов, а из традиционных цветов. Вполне вегетарианского вида. Из поселка доносилась хипповская радиомузыка.

Коммуна Хэпиленд была не такой уж и счастливой. Flower Power встретил Даниэля стаяй недоверчивых, испуганных полудикарей. Гости у давно не мывшихся обитателей высот были в такую же новинку, как чистое белье и доброжелательность. При виде странника они встали стеной, молча насупившись. А когда Даниэль попытался приблизиться, приветствуя: «Харе Кришна, я странник-на-островах!», — они загалдели, вскидывая вверх тощие руки. Вперед вышел импозантный главарь. Дикари притихли. Когда все успокоилось, этот главный хиппи, мощный ветхозаветный старикан по имени Джагга Чо в льняной одежде и с бутонем в седых волосах пригласил странника-на-островах в свой вигвам. Беседа шла вполне по-индейски. Чо, раскурив «трубку мира», рассказывал, какой у них, мол, тут образцовый миропорядок. Все-то мы выращиваем сами, все-то наши сады-огороды ухожены, унавожены. Сами мы вегетарианцы, люди скромные, на добро не скупые, на обиду не лихие.

А черный человек с самострелом? Даниэль вежливо уклонился от «трубки», представлявшей собой настоящий растаманский паровоз.

Ах, так-так-разэдак, это наш позор, боль и обида. Отщепенец, выщербленец, выкормыш на нашу голову. Утроба ненасытная, едой не накормимая, водой не напоимая, словом не ублажимая. Извергнут, испоганенный поеданием ворон и котов. Черный хиппи, позор хипповского уклада. Занимается грешным сыроядением.

Когда странник-на-островах сказал, что ищет путь на небо, хипповской вождь неодобрительно покачал головой.

— Мы же, — сказал Чо назидательно, — благолепим доктрину семьдесят два даюштю нам покой и благопонимание о мире в лутшем из

миров и што время для нас остановилось. Никакова другаго времени уже быть не может бо и не нужно оно нам другое время,— степенно произносил он, по-дурацки перевирая. Правда, потом уже нормально добавил, что, мол, хорошо, что половина классики рока успели сочинить до семьдесят второго. Иначе не избежать морального диссонанса. А то раньше, понимаешь, вообще работали эти долбаные глушилки, из-за которых правоверному хиппи ни нормально кайфануть, ни словить ништяков. Он вкусно затянулся, доковылял к радиоприемнику, стоявшему в «красном уголке» посреди коврика под фотографией Джимми Хендрикса. Колонки запели: «All you need is love».

Из вигвама Даниэль выходил присвистывая. Вокруг него обретались хиппи, сбрендившие от конопли и проповеди Доктрины-72.

Вся власть Джагга Чо держалась на том, что никто не знал, как спуститься вниз. За десяток лет терпилы-хиппи деградировали в абсолютных конформистов. Опустошив склады, они приступили к натуральному хозяйству. Поди уже лет пять всё, кроме красок, было в дефиците. А времени было много, несчетного конопляного времени. Живи наравне с облаками, кушай салаты, пей местную текилку, покуривай да послушивай радио и ежедневные наставления вождя. Всех, кто не довольствовался пресными травками и дымными речами, раньше выпроваживали вниз, а теперь, видимо, изгоняли на самоизживание. В коммуну с самого начала брали только талантливых художников, одаренных копиистов, которых вождь приспособил изготавливать подделки под Мастеров. Собственно, Хэпиленд был крупнейшей контрафактной мастерской. Имелось несколько оригинальных картин, с которых ежегодно, словно с матрицы, отпечатывали до сотни высокохудожественных копий. Даниэль подозревал, что не могут они жить совсем изолировано. Сносятся с землей. Обменивают подделки на продукты. Гедеон сам и посредничает. Наладили, понимаешь, подпольную индустрию.

Вечером вся хипповская коммуна сиротливо жалась под раскидистым Маковым деревом у костра. Трещали полешки, лирический баритон гитары пересказывал Greensleaves. Обычные хипповские разговоры, что всю крутоту в музыке открыли до семьдесят второго. То-то же, неспроста появилась Доктрина. Раньше и музыка была настоящая, и конопля забористее, а уж как какой был коэффициент расширения

сознания... И тут Даниэль пожалел об отвергнутом диктофоне. Сейчас бы он очень пригодился. Блокнот, конечно, не передаст ни треск де-рева, ни баритон гитары, ни пересказов средневековой Greensleeves. А послушать было что.

**История Мастеров, рассказанная у костра
хиппи-поддельщиком**

Первым Мастером был Эухенио Быстробегий из Рыбацкого перелука, художник-самоучка, уроженец испанской Картахены. От него остались курительная трубка и неизвестное число картин. За свои двадцать два он успел обжиться в Испании, Италии, Латинской Америке, играть в домино на Карибах, путешествовать по Японии на осле, жениться на островитянках, торговать порошком из слоновьих ногтей, а привезя в Гаванну жену-филиппинку, жил с ней безвыездно, рисуя только город, пока, как говорят, не «зарисовался». В последний раз его видели возле мастерской, в которую он каждый вечер заносил картины, говорят, неизменным числом: сколько утром выставил на набережной, столько и вернул. Бывало, торговал он неплохо, бывало, совсем никак, но как убыль равнялась прибыли — тут любой бухгалтер беспомощно разведет руками. Список работ, «Канон Мастера», оставшийся неизменным, — вот первая загадка в «вопросе Мастеров». Безусловно, Канон считается чем-то вроде блюдечка: сколько пришло, столько и ушло, — но отсутствие списка и безымянность оригинальных работ положило начало подделкам и подражаниям, атрибутировать которые с точностью невозможно.

В тот вечер луна сочелась с седой, как туман, головой Мастера, который по привычке расставлял картины в мастерской. Сквозь дверной проем, широкий, надо сказать, проем, потому что до мастерской была здесь конюшня, сквозь этот буквально парадный въезд каждый проходящий мог бы видеть, что это за картины. Но Мастер обычно оборачивал их в тряпье. Жена звала своего Быстробегого к ужину, на котором ожидалась ее неизменная болтовня, как прошел день, сколько натрговала прошлогодним урожаем самосада и кто с кем меж лотков пересобачился. Внезапно Мастеру пришла в голову беспокойная идея: кое-что подправить на одной старой работе. Впрочем, такое и раньше случалось. Жена частенько слыхивала глухие оговорки сроков: что-

де скоро будет, вот только докончит кое-какую деталь. Именно тут некоторые наиболее подозрительные искусствоведы делают первое лирическое отступление: продавая картину, Мастер якобы тут же ее и восполнял, то есть сам первый и начал подделывать свои работы. Это были либо полные тезки, копии картин, либо слабо интонированные вариации. Итак, жена ждала Эухенио на кухне. Но он не только не соизволил появиться через час и более, вообще не соблаговолил войти в тот вечер в спальню, где, кроме жены, как обычно, поджидал его торжественно-брачный балдахин, сопровождаемый жеманной свитой одеял и гигантской пригоршней подушек, таких же хвастливых и высокомерных выскочек, как какие-нибудь карликовые собачки.

Когда жена утром во главе с раздражением вошла в мастерскую, а затем, не удовлетворившись ее видом, и в комнату Эухенио, там не оказалось никого, точнее, ничего, кроме дыма. Перед мольбертом на стуле лежала испускающая «ыаааххх» бриаровая трубка. Выгоревший табак высыпался и отбивал крепким запахом у любого вошедшего всякий нюх. На недавно законченной картине был изображен хвост леса и замок с башенкой. Из ее растворенного окна сочился уголок алого света. Деревья — по колено окуранные светло-серым туманом. Трава — с головой увлеченная очарованием бледного лунного фонаря, подвешенного в облаках между лесом и башней. Незарисованное пятно, как будто темный вздох, испарялось в глубине картины. Жена завесила картину и в сердцах пнула стул с трубкой.

Картины Мастера разлетелись по всему свету, раздаренные и проданные вместе с его вещами и книгами. Последние представляли собой очень подробное, педантичное и ревнивое ко всем недавним новостям собрание путешествий. Местами поля книг были испещрены острым, как зубья расчески, почерком. Иные главы закладывались фигурками из матовой бумаги в виде животных и птиц средневековых bestiариев. Целые страницы покрыты сангиновым и угольным карандашом поверх типографского текста извилистыми берегами, речными пейзажами, преимущественно ночными и дикими. Индиговый цвет, добытый из чешуек бабочек, был совсем экономно нанесен пальцами.

Первым интересоваться картинами Мастера стал некий «человек из Рима», предлагавший за них баснословные деньги, долго и тревожно мучивший расспросами сонных и без-себе-на-уме гаваннских

обывателей, увлеченных преимущественно ленью и облаками. Зайдя в мастерскую, превращенную к тому времени в непролазный чулан, он перевернул ее вверх дном, найдя только трубку, которую жена-филиппинка забросила в самый дальний угол. Плюнув в сердцах, «человек из Рима», покинул городок. Путь его лежал к картинным галереям всего мира и домам богатейших коллекционеров живописи. Писали, что он — разжалованный секретарь папского кардинала, что, сам того не желая, спровоцировал по всей Европе, в той, разбиравшейся в тонкостях живописи Европе, тщательные и скрупулезные поиски картин творца из Гаванны. Это, с одной стороны, подняло «крысиные бега» за картинами Эухенио, с другой, — легчайшие подражания и подделки. Именно тогда и появились новые Мастера.

Вторым Мастером был немец Вальцбюргер — сонный человек с немым лицом. Он ничего не имел в своем таланте, кроме сверхъестественного дара уподобляться любому живописцу, оставляя на своей безмолвной, сырой душе отпечатки особенностей копируемого мастера. Начав как подражатель, Вальцбюргер необычайно развился и стал, по признанию знатоков, настоящим духовым наследником Мастера Эухенио. В ученические годы в Дрездене им были сделаны тысячи набросков — всего с двух картин Первого Мастера, выставленных в Пинакотеке. Благодаря болезненной и безвольной впечатлительности, выглядевших внешне как неподдельная заторможенность, будущий Мастер во сне и наяву грезил каждым мазком, каждым движением кисти, любым сознательным и нечаянным поворотом руки Эухенио. Вернувшись после учебы на родину, в маленький швабский городок, он больше никуда не выезжал, производя за свою творческую жизнь множество портретов, пейзажей, натюрмортов и наследников-Вальцбюргеров. Традиция приписывает конец его жизни внезапному и бесследному исчезновению, подобному гаваннскому случаю. В пустой комнате перед законченной картиной в сонном испуге стояли многочисленные бледно-медлительные Вальцбюргеры и тарасилась на групповой портрет их же самих.

Третьим и четвертым мастерами оказались нидерландцы Тленште, братья-близнецы из Брюгге. Эрих был правша, а Эмерих — леворук, левоглаз и левоног настолько, что, взглянув на них, сразу раскрывался совершенно зеркальный замысел природы. Родинка Эриха под

правым глазом отпечаталась чернильным пятном под левым Эмериха. Короткий средний левый палец Эмериха был коротким правым у Эриха. И все остальное было у них с дополняющей доподлинностью наоборот: словно природа, капнув на промокашку, сложила ее пополам и подарила братьям непреходящий дар смотреть друг в друга.

Работали они всегда вместе: один начинал с левой, второй — с правой стороны холста. Сходились одновременно на середине, лавируя и изгибаясь пальцами и кистями, поводя их словно спицами. Их роспись походила на большой тканый ковер, измельченный вглубь картины настолько ясно и глубоко, будто в ее центре обнаруживался объем, увлекающий зрителя упасть внутрь.

Исследователи сходятся на том, что Тленште были уже зрелыми мастерами, когда познакомились с творчеством Эухенио — как они думали, малоизвестного итальянского мастера эпохи позднего Возрождения. Их пейзажная повествовательная манера на тот момент стояла в точке совершенного развития и в дальнейшем могла только повторяться и канонизироваться. Поэтому правый глаз Эриха посмотрел в левый Эмериха, они взялись за руки и исчезли, оставив после себя собрание картин и поколения разнообразных кистей.

Кто был пятым, шестым и седьмым в порядке следования, точно установить нельзя. Так же, как и считать их полноценными мастерами-художниками. Каждый из них — англичанин Ламберт, француз Тиссо, венгр Имре — был любителем, интересовался живописью ничуть не больше других искусств. Точно можно указать, что происходили они из богатых семей и пришли к искусству Мастера через экземпляры его дневников, попавших в их семейные библиотеки. Каждый из них исчез примерно при тех же обстоятельствах, что и Эухенио, прихватив с собой томик путешествий.

И вот тут надо сделать важнейшее замечание, что никто из Первых Мастеров, кроме Эухенио, даже близко не бывал в Гаванне. Мастерами они становились, лишь взглядываясь в его картины или вчитываясь в дневники путешествий. Включение в цех Мастеров традиция определяет по главной особенности: все они рисовали неведомый им городок на полуострове, словно обернутый скалой. Городок Гаванна в нижней части их картин служил чем-то вроде мифологических декораций, непреложным задником движущейся мистерии и давно известной

историей, подобной историям Старого и Нового Завета, позволяя варьировать этот своеобразный библейский мотив не менее широко, но и не менее аккуратно: не добавлять к нижнему слою вольностей, а изображать его правдиво, иконографически неизменно, и только верх полностью отправлять в будущее. Гаванна, таким образом, разделялась на город земной и город небесный.

С течением времени в «вопросе Мастеров» начинают завязываться трудные и особенно узорные узлы. Начинается путаница в их именах, числе, возникают первые подделки, атрибуция кисти Эухенио претерпевает серьезные кризисы. Сумятицу вносят прямые продолжатели, эпигоны и в общем-то весьма талантливые, тщательные копиисты. С другой стороны, помимо плавающего Канона была признана подлинность по крайней мере еще восьми картин Эухенио, не ложившихся в канву его творчества: время их происхождения однозначно относили к тогдашней современности, когда, как известно, местонахождение Мастера было загадкой. Эти картины находили в попросту неожиданных точках земного шара. Три — в Новом Свете, одну — в Японии, две — в Китае, по одной — в Полинезии и на Таити.

В книге Гердера Эрудина, посвященной «вопросу Мастеров», вышедшей в пасмурном Глазго накануне мировой славы «воздушных мастерских», проблема была застолблена в вопросительном ключе: «... что именно создает необычайность и соблазнительную притягательность картин Эухенио, что заставляет иного человека, взглянувшего на сии изящные и экзотические пейзажи, возвращаться к ним вновь и вновь до окончательной потери покоя, до полного умопомрачения? Почему Мастерами должны мы называть только избранных одиночек, ушедших из мира при странных обстоятельствах, будто они разгадали тайну Эухенио?»

Когда под Парижем, в особняке «человека из Рима», наконец, состоялась наиболее представительная выставка Мастеров, число их оказалось на удивление большим, обескураживающе чрезмерным. Двадцать семь. Последним стал недавно скончавшийся англичанин Уильям Тельнер, который перед тем, как традиционно для Мастеров «зарисоваться», попросту сбрендил. Выставка закончилась скандалом: после недельного экспонирования картины исчезли, все, кроме одной. Последней прижизненной Эухенио. С темным овалом пятна. С башней,

из окна которой свитком выкатывается дрожащий свет, растворяясь в вечернем тумане, подсвеченным молодой, свежей луной.

Вот и все. На этом история навсегда обрывается, пустые, неизрасходованные листы рассыпаются по комнате. Мелочи мира, малые дети его, так же как и большие, спрятаны в складках бытия, копяты ворохом в своем отдельном ящичке, недоступные ни читателю, ни повествователю...

Даниэль, как можно догадаться, не очень много вынес из этой запутанной истории. Перед тем, как заснуть, ему пришла в голову веселая мысль про такой фотографический поджанр, который, ввиду скорого разбора платформ, станет единственным в своем роде, мимолетным, исчезающим поджанром, просуществовавшим несколько месяцев и который больше никогда не повторится: его подлинность окажется краткосрочной, как и живопись Мастеров. Этот поджанр, думал Даниэль, может служить аллегорией искусства вообще. Каждый жанр возникает именно в свое собственное, особое время, и в это время является настоящим реализмом в смысле воспроизведения сущности своей собственной реальности, как бы ни был этот жанр условен и фантастичен. Поэтому и египетское, и античное искусство реалистичны в той же степени, сколь и искусство Возрождения, и кубизм, и сюрреализм. Потому что отражает осознание эпохой самой себя. Каждое искусство уместно и полностью раскрывает свой смысл только в свое время, любое подражание ему, пусть даже из самых лучших побуждений, пусть даже самое бережно скопированное в поздние эпохи — уже фальшь. Такой фальшью были и эпигоны Мастеров, и хиппи-поддельщики. И такой же фальшью станет все, что станет подделывать фотографии Даниэля.

Ночью пришел Чо, отвыкший от тревог и дрожавший от волнения.

— Слаб человек бо. Сегодня в достатке, радости и довольстве, — сказал он, тяжело дыша, — благословляет землю и воду, а завтра повеял гнилой сквознячок — и вот она, свобода, ради нее он запускает пашни и плюет в колодцы. Уходи скорее. Тадам-растардам. Буря, буря в невинные души. Нам здесь хорошо и без тебя. — Потом чуть не зашипел: — Сами не знают, чего хотят.

За ночь коммуна раскололась. Вождь убеждал соплеменников, что странник страннику рознь. Этот идет вверх, а не вниз. До вас ему

дела нет. У него свой путь. А коммуна бушевала, закоренелые тихони, запертые десяток лет в вегетарианском концлагере, озверев, вышли в первые бунтовщики, требовали силой принудить странника, чтобы вел их вниз, а самого Джагга Чо тяжело бить, красками мазать, вязать спина к спине с «черным хиппи» и бросать обоих в «воздушный пруд». Добренькие «дети цветов». Зря, ох и зря подкармливал он их лучшими косячками. Твари неблагодарные.

Вот чего стоит эта конопляная власть, подумал Даниэль, если понадобился всего один человек, чтобы ниспровергнуть десятилетний уклад. А ведь и правда, половина точно ушла бы с ним прямо сейчас. Слабые, одурманенные проповедями и коноплей души, которые за мгновение отреклись от своей доктрины. Пока Даниэль собирался, вождь, задабривая, совал ему в карманы немые овощи, только что надерганые с грядок, и продолжал лихорадочно бормотать, чтобы уходил, уходил быстрее. Даниэль успел разобрать, что идти надо вверх, непременно вверх, хоть до самого космоса, только не вниз, нет, он и дорогу ему покажет. Верную дорогу от залива до Скалы, где из нее выходит родник. Обогнешь каменный мысок — и сразу направо, смотри, вот и заброшенная шахта лифта, и прямо в ней до четвертого... до четвертого. Джагга Чо осекся, но странник уже вышел под утренние звезды.

Покидая Хэпиленд, Даниэль тайком фотографировал коммуны. Идти решил к краю острова, за очередной порцией фотографий, а когда рассветет, повернет к первому месту, указанному Гедеоном возле Скалы. После акациевой рощицы за Даниэлем увязался «черный хиппи». Он плелся понуро, делая вид, что сам по себе, а когда замечал, что странник отрывается вперед, сразу прибавлял скорости.

— Эй, чего тебе? — крикнул Даниэль.

Хиппи остановился. Ведет себя, как бездомная собака, которой очень хочется примазаться к человеку.

— Верни сначала сумку, — сказал Даниэль, догадавшись, что хиппи думает, что он пойдет вниз.

Безмолвный протянул ему сумку, спрятанную за спиной. Там было все, кроме харчей: бинокль, фонарь, пустая фляжка.

— Я иду вверх, — сказал Даниэль.

На грязном лице хиппи появилась такая улыбка, будто его обескуражили неприличной картинкой.

— Безумец, — сказал вдруг безмолвный. — Я был там, где ничего нет. Только космос и хаос. И партизаны. Я туда и обратно, поднялся и спустился, оскорбев душой.

Даниэль усмехнулся и пошел своей дорогой. Хиппи стоял в пыли, юродиво улыбаясь.

К полудню Даниэль уже знал, что две тропы обрываются в пустоту: скобы спилены, вероятно, очень давно. Вечером отыскалась и третья тропа: хаб, в который стянуто с десятков тросов — такие встречались повсеместно, где платформа смыкалась со Скалой. Огромная шайба, когда-то крепившая трос, помечена красным трафаретом: «Обрезано... бригада №004314... 11/01/+36». То есть четыре года назад. Гедеон должен знать.

Сверху в бинокль просматривались пучки металлических жил, врезанных в каменную породу. День завершался, надо было спешить к краю, на фотоэтюды заката оставался час.

Весь следующий день странник-на-островах искал вход на четвертый уровень. Сверху можно было бы наблюдать, как шел он вдоль Скалы, подолгу останавливаясь и вглядываясь в каждый бугорок. То, что Гедеон обманет, можно было и предвидеть. Определенно, Даниэль предчувствовал тут неудачу. Но что у него отобрали еду и воду — вот это было совсем некстати. Растаманские огурцы оставляли во рту горький привкус. Пить хотелось еще больше. Неизвестно еще, чем они унавоживали свои грядки.

Скала серая. Мефистофель в профиль. Скала рыжая, оглаженная ветрами. Вересковая пустошь. Обнаженный суглинок. На дне оврага торчат швы корней. Только это не корни, а выломанная арматура левитронной сетки. В кадр помещается вся долина по разлому оврага, по которому прошла разрядка напряжения. «Воздушные пруды» вдыхают простор в плотную кладку платформы. Даниэль забрался как можно выше и щелкал все, что попадало в объектив, пока пожар заката не обуглился в тлеющие созвездия. Вероятно, предстояла последняя ночь на островах. Подняться выше не было никакой возможности.

Утром Даниэль вернется к Гедеону. Тот, конечно, будет ломаться и отбрыкиваться, но он его прижмет, хотя пока и неясно, как. Пусть и угрозами. Мол, Треф сольет про тебя всю инфу кому следует. Только

сейчас, под вечер, Даниэль почувствовал жажду, голод и усталость целого дня. «А бывают в скалах родники?» — донеслась тихая, журчащая мысль, бессознательно мучившая его с того самого момента, когда хипповской вождь сказал о роднике, выходящем из Скалы. Но ведь это место внизу? Иначе как родник попадает в залив? «От залива до Скалы... где из нее выходит родник». Так, кажется, сказал?

На рассвете Даниэль ушел вниз через ближайшую расселину. Третий ярус, второй, первый, земля. Далеким земной город, почужевший за время похода. Ошкуренный Скалой, загоревший, похудевший, со щетиной в крупную наждачку, словно кот, пропахший высотой, — таким входил Даниэль в гостиницу Катарины Пиллар.

Новый постоялец трети сутки числился у хозяйки в круглых двочниках. И как она могла не заметить в нем симулянта и смутьяна? «Я-то думала, он романтик, человек порядочный и домашний. А повел себя как соседский кобелек, которому поверили, сняли с поводка, а он тут как тут — бросился грязными лапищами на белые пиджаки туристов». На выклик колокольчика она выглянула с видом обманутой жены, уже поделившей имущество и готовившей развод. Катарина сперва и правда хотела выставить его вещички за дверь гостиницы, но профессиональная этика — все равно что супружеский долг: вторая совесть. Даниэль приветствовал Катарину счастливой улыбкой, сообщавшей, что он намерен принять душ, заказать самое дорогое меню, откупорить гаваннского со вкусом изюма вина и простодушно проболтаться про воздушные приключения. Но сейчас и мягкой кровати оказалось достаточно. Он только на минуту заглянул в свой номер, чтобы переодеться, сел, откинулся на постель и... был разбужен стуком в дверь. Бывают такие настойчивые, повторяющиеся сны. Даниэлю снился стук. Такой, будто опережающий свое время. Словно стук из будущего. Его еще нет, но вот-вот должен раздаться, будто подкрасться к двери, а Даниэль его предупредил, проснулся за мгновение до, и стук опоздал, остался во сне. Это всего лишь сон, обычно думал Даниэль, никто не стучал. Так и происходило, стук оставался во сне. Но сейчас он повторился.

— Заходите, — сказал Даниэль, косясь на Пруста с пальчиком — уж не он ли? — Открыто.

Но дверь действительно открылась. Из-за нее выглянул узколиций Филлипс. Конечно, нос вынырнул чуть раньше. За окном стемнело.

Освещение из коридора распахнулось, запустив в номер неправдоподобную фигуру искусствоведа.

— Простите, что побеспокоил вас... — начал Филлипс.

Даниэль по-свойски махнул рукой. Искусствовед сел на кровать, и даже очень близко к Даниэлю.

— Я знаю, где вы были, — прошептал он отчетливо. — Можете мне доверять. Поверьте, я на вашей стороне и...

Стук раздался снова. Из-за двери выглянул Томи, гостиничный мальчик. Ужин, как господин заказывал, готов и ждет господина в летнем дворике.

— Ну что ж, — сказал Даниэль мальчику, — я пока в душ, а вы сервируйте еще на одну персону. Составите мне компанию? — спросил он гостя.

Искусствовед неожиданно отказался, незаметно от мальчика стрельнув глазами в окно.

— Я собирался гулять... — сказал и снова стрельнул. — На набережной, — сказал он с нажимом, — будет очень полная луна. Красота!

Надо сказать, Катарина воображала, что она с невероятной подозрительностью выбирает себе постояльцев. Временная служба, распределявшая туристический поток, относилась к мнению молодой амбициозной отельерши приязненно, поставляя ей самых неординарных и сомнительных клиентов. Искусствовед Филлипс, из года в год попадавший под ее крылышко, давно был под колпаком слежки. Процедура распределения начиналась с изучения черных белых фотографий, приложенных к тщательно скомпилированному *curriculum vitae*. Журналист из топового издания, который вырос в провинциальном подбрюшьи мегаполиса, а потом, выбравшись в столицу, чтобы затем в самое короткое время добиться всего, чего только возможно в свои двадцать два, — такой подозрительнейший кандидат сразу шел в обитатели гостиницы «Caterpillar». Катарина знала, что большие карьеры просто так не делаются. Сама она родом с «материка». Через прерывистую цепочку родственников и знакомых устроилась на таможню, провожавшую гаванские поезда. Десять лет назад это было очень хорошее место. Попастъ чужому на работу в Гаванну считалось неправдоподобным драйвом судьбы. И однако же она попала. Ее разглядели, приодели, придумали легенду о домике в «старом городе», который старательная Катарина приняла в

наследство и преобразила в гостиницу. Катарина знала цену такому драйву судьбы. Назывался он сделка с совестью и брак по расчету. Начальник таможни, крупный чиновник во временной иерархии по ту сторону совести и расчета был ее законный супруг. Человек приятного пенсионного возраста с бакенбардами.

Даниэль успел пропустить второй бокал гаваннского, когда в летнем дворике появилась Катарина. Она вспоминала тот первый, такой романтический и многообещающий, вечер. Ее плечи были обернуты в платок. На губах играла горькая усмешка. Какие красивые, непонятные слова звучали тогда — про все на свете. Кажется, он признавался ей в чем-то. Ах да, в любви к Венеции. Какая пошлость — признаваться в любви к мертвому предмету! Все равно что пьяному выдумать объект восхищения, а потом всю ночь любить его в своем воображении! Извращенец, да и только... Жаль, в извращенцах не пенсионные старики с бакенбардами, а кандидаты вполне детородного возраста. И кто еще наградил его этой мерзкой котовьей улыбочкой? Фу, страсть-то какая! Каждый раз ухмыляться себе в зеркало.

— А вы неплохо проводите время, — сказала она с видом, что не собирается задерживаться надолго.

— Спасибо за ужин и вино. И вам бы не помешало...

— А я только зашла спросить, вы здесь еще будете ночевать? Мне же надо составлять рабочий план. А то приходите, уходите, когда вздумается. А у нас же отчетность. Городок полурежимный. Вы в вообще курсе? А то шляетесь непонятно где.

— Я был у друзей...

Оба понимали, о чем на самом деле речь. Даниэль, правда, не очень трезво соображал, пытаясь просчитать, донесла она или еще нет, как ей полагалось по службе. Катарина отставила от стола стул и села на расстоянии. Значит, пока нет. Даниэль улыбался своей широко нарисованной улыбкой. Выпил и в третий раз. Пожалуй, лишний, потому что Катарина что-то говорила, а он, вместо того, чтобы слушать и отвечать, все дальше, как на лодке, отплывал на своей улыбке вглубь себя.

— Знаешь, что? — сказала она вдруг раздраженно. — Ты не лучше других. Думаешь, таких, как ты, здесь не видали? Воображают себя героями, шляются по местным девкам и притонам, потому что хотят посмотреть «про настоящую Гаванну». А потом пишут в своей газетенке про развращение нравов. Да я тебя сразу раскусила. Пошляются по

грязным кварталам, а потом напоследок полезут наверх, пронюхать, как там, не совсем еще прогнило, не скоро это все свалится нам на головы?

— Да я правда Венецию люблю, — сказал Даниэль устало. Зачем она портит ему настроение? — Я бы не приехал сюда, если бы была аутентичная Венеция.

— Аун... тичная? — Катарина на мгновение заколебалась. — И что в этой Венеции было хорошего? Мне рассказывала тетя. Ездила туда, когда она еще была. Вонь одна, говорит. Повсюду одна вода тухлая. И здесь то же самое развели... Уезжай отсюда поскорей, — сказала она вдруг. Глаза ее опечалились, ослабли, будто на них сошла скорбная дрема.

«Что же меня все так гонят от себя?» — подумал он, вставая.

— Если вам здесь не нравится, можете забирать вещички и переселяться в любую другую гостиницу, — сказала Катарина с деланным спокойствием, как бы официально подводя итог разговору.

— Вы прекрасно знаете, что в любую другую гостиницу я не могу. При всем желании. — И добавил: — После такого изюмистого вина без всяких разговоров тянет на набережную. — Сложил салфетку треугольником и вышел.

«А ведь она, небось, насочиняла с полромана», — думал он, поднимаясь в свой апартамент. Он — эдакий недалекий легкомысленный иванцаревич, головой в облаках, а она постоянно дергает его за ноги, приземляет и каждый раз оказывается права. Зато ему подвластны глобальные проблемы, вроде усмирения стихий. Или извержения вулкана. Или падения метеорита. И тогда у него роль ее спасителя, настоящего героя. Уже сто раз он выносил ее на руках из пожара или из прибоя. Из лап разбойников, из клещей правосудия. Но в понедельник и во вторник, не говоря уже про субботу и воскресенье, ему положено выносить мусор, ходить в магазин, выбивать паласы и пылесосить ковровые дорожки. Ах да, еще собирать чаевые с постояльцев ее будуара.

И все-таки она донесет, если уже не, как это велено, дознавателям. Если не из рвения, то из ревности. А ведь что-то такое любовное было в ее губах. Да она накрутилась! Губы, щеки. Глаза подвела. Платье это васильковое. Совсем не такое уж и дурное. Как же он не заметил? Теперь точно донесет. Отвергнутая женщина в гневе страшна, как смерть предателя!

Свои вещички Даниэль действительно выставил за дверь, только в другом смысле. Сумка со всем необходимым вылетела через окно в палисадник. Сам он не спеша спустился по лестнице, с туристической небрежностью подмигнув Кафке. На пороге гостиницы караулил Томи: в своем коридорном мундире и сдвинутой набок феске гостиничного служки. Турист подмигнул и ему, дружески хлопнув по плечу: «Доброй ночи, мальчик!» Жаль, с Кафкой такой номер не пройдет.

С луной Филлипс промахнулся: редкие фонари подкармливали набережную таким нищим электричеством, что туристы шаркали по ней мертвенно-зелеными призраками. Близорукий искусствовед долго не признавал Даниэля, пока тот почти не ткнулся ему в нос.

— Филлипс! — сказал Даниэль торжественно. — Срочно нужна ваша помощь. Диктофон случаем не при вас? Ах, какую историю я услышал. Какую историю! Шедевр! Давайте его сюда. Да, нужна ваша помощь, срочно.

Надо звонить Трефу, узнать, как грамотно надавить на Гедеона. Хорошо бы сначала прощупать этого толстого «гида».

— Нужен звонок другу, — продолжал Даниэль. — Треф бы точно знал, что делать.

— Треф, Треф... Что-то знакомое... — бормотал Филлипс, копаясь в карманах, пока Даниэль под ручку отводил его от набережной.

— Исключено. Это конспиративный псевдоним. Нужно звонить. И немедленно.

— Вряд ли. — Голос искусствоведа звучал озабоченно. — И вполне невозможно. Все закрыто. Даже если найдется знакомая телефонная трубка, все местные звонки прослушиваются.

— Что же делать?.. Что же делать?.. А у вас есть знакомая телефонная трубка?

— Ну, допустим... — Филлипс замер рукой во внутреннем кармане. Задумался.

— Ладно, уговорили, ведите к кому-нибудь, у кого можно достать пластиковые бутылки. Понимаете ли, вода? Если бы не отобрали эту несчастную воду, я бы уже был на самом верху.

— Так вы там были? — Филлипс ощупывал рукав, голос его звучал оптимистичнее.

— Был ли я там? Еще бы я там не был! Вы бы знали, что там творится! — зашептал Даниэль, оглядываясь. — Знаете, что за нами следят?

— Вполне знаю.

— А в Катарине уверены?

— Да уж вполне пять лет у нее останавливаюсь.

— Наивный мальчик! — съязвил Даниэль. Третья гаваннская все-таки была лишней. Даниэль привлек Филлипса к себе ушком. — Вся гостиничная индустрия, вся — нашпигована шпионами. Смешно, да? Нашпигована шпионами.

— Как такое можно говорить о вполне порядочной даме? — возмущается Филлипс, что-то вытряхивая из рукава.

— Порядочной? Эх, Треф такое о них рассказывал...

— Да кто такой этот ваш Треф?

— Кто такой Треф?!

Действительно, пока персонажи сами по себе движутся в нужном направлении, пора рассказать, кто такой этот Треф. Хотя что о нем рассказывать? И что если Треф — это сам автор? Или настолько козырный персонаж, что неосмотрительно переворачивать его рубашкой вниз задолго до финала. Или, скажете вы, Треф — это один из Мастеров, или даже сам Эухенио Быстробегий, или Главный Архитектор?

— В самом деле? — удивляется Филлипс. — Ай, ай! Вот так история. Вполне себе удивительная.

— Да-да, обещаю написать вам эту историю про Мастеров. У меня есть материал. Но у вас ведь точно есть связи?

— А вы точно там были?

— Да точно-точно! Еще как был! И дайте уже наконец эту вашу записывающую штуковину!

Оба одновременно остановились перед древней, в патине пыли аркой, венчавшей когда-то головы всех мэров городка, проходивших под ней. Безвременно закрытая на реконструкцию, она отмечала границу между Гаванной законной, туристической и аборигенной средой. Пройти мимо нее означало сунуться в мир подворотен, древних закоулков, эпизодических разбоев, душевных встреч в тупиках с бузотером, сутенером, с фарцовщиком временем.

В этой нетуристической Гаванне взгляду Даниэля и Филлипса сразу открылись темные подворотни, старые, разношенные временем дворы, в которых полунищие старики потягивали конопляные смеси. В ином из них угадывался бывший хиппи, беглец из Хэппиленда, с повязкой на лбу, в просторной рубашенции. Открывалась местная

ночная жизнь, раскованная и рискованная. Молодые люди толпились возле баров, пили крепленное гаваннское, громко и развязно бросали бранную угрозу. Привлеченные гитарой на перекрестке, танцевали, сплетясь руками, две девушки. На чужих оглядывались, провожали молчанием. Близорукий Филлипс внезапно приобрел вид заправского контрабандиста, повел своего спутника самыми темными путями, о которых Даниэль не подозревал.

— Послушайте, Филлипс, а вы правда — Веларий? — прошептал Даниэль.

— Мой отец, увы, был вполне выдающимся любителем античности... — ответил искусствовед, усердно щурясь. — Он был такой же вполне хилой комплекции, как и я. Видите? — Филлипс эффектно ударил себя в грудь. — И ему вполне хотелось, чтобы я вырос высоким и с мышечными объемами. Он верил в слово, как иные верят на слово. В слове он искал своего будущего сына. Он хотел, чтобы сын стал ему опорой и силой, чтобы охранил его будущее, подобно велариям — так называли телохранителей римского императора. Но трюк не удался. И как отец был учителем словесности, а не императором, так и его сын только вытянулся в длину, а мышечных объемов не приобрел.

Тут Филлипс, уставший щуриться, остановился на углу рядом со старой некрашеной дверью и выразительно постучал в нее.

— А у вас, Филлипс, оказывается, тоже есть полезные друзья, — сказал Даниэль.

— Увы, вы вполне можете получить здесь только пластиковые бутылки, но никак не удовлетворительные сведения и вполне подходящую историю, как у вас.

Через минуту дверь открылась, и оба вошли в контрабандистский притон.

Помимо пластиковых бутылок для воды в притоне нашлось несколько пакетов с сухпайками, пищевыми концентратами и консервами. А также мощный фонарь с динамо-машиной и крепленное гаваннское, которое тут же все вместе и распили. Остаток ночи Даниэль в сопровождении Филлипса и проводника добирался к роднику, о котором проговорился Джагга Чо. Рассвет застал Даниэля восходящим на Безымянную.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Неизвестно, когда обрушилась тьма. Сначала полыхали пожары, словно великаны обходили квартал за кварталом, держа на весу и сжирая нарядные палаццо, а потом бросали вниз обугленные, черноматовые скелеты арматуры, обглоданные жилы тросов, перевернутые черепа башенок. Великаны выдохлись и убавились в тлеющих карликов, долгие годы дремавших в своих пещерах. Но и карлики умерли, и тогда тьма вздохнула и осталась навсегда. Тут или там расцветала опалесцирующая звезда. Те, кто выжил после пожаров, тянулись к звездам и погибали. А кто уходил от звезды живым, лучше бы не выжил и сразу сровнялся с тьмой.

Все, что между четвертым и последним островом, спеклось за годы пожаров в одну огромную мешанину металла, земли, каркасов муляжей, которыми позже заменяли венецианские антуражи. Четвертый уровень. Когда-то здесь был целый деревянный город, предназначенный для штата сотрудников и сыгравший жуткую роль — однажды все это, словно трут, запылало. То, что Даниэль увидел, едва поднявшись, напоминало, скорее, место побоища космических кораблей. Металлические балки и рваные, источавшие черную труху, обломки платформ до сих пор висели в воздухе.

Уровни повсеместно обрушились, смешались в непроходимый металлический бурелом, джунгли тросов и перекрытий. Затопы, завалы, полутьма в самый светлый час. Черный уровень. Дождевая вода годами копилась в балках, стояла и прела, превращаясь в ядовитую присолонь. Разрастались бледные асфоделевые травы и растения, а потом, гния, выстилала летеиские берега. Если раньше Даниэль с досадой недоумевал, почему такие крепкие, функциональные острова закрыли и собираются демонтировать, то теперь, увидев их, понял, что над головой гаванцев замерла самая настоящая катастрофа.

Глаз, привыкая к полутьме, сразу различал ложные звезды, связанные ионизированными паутинами. Радиация. Безопасный левитрон, распадаясь, годами вырождался в радиоактивный магнетон. Накапливался и отравлял все вокруг. Тусклый свет, словно и не свет, а калька с него, даже тот казался зараженным.

Мощный фонарь, пробиваясь на сотню метров, цеплял железные заросли, упирался в опрокинутую платформу. После каждого шага в

воздух чернильной сажой поднимался пепел. Округляясь в облачка, долго висел, будто в воде, медленно осаждаясь. Вместо следов оставлял воздушную гряду. Добравшись до платформы, Даниэль пошарил фонарем вверх. Очевидно, путь лежал там. Дно «черного уровня» безнадежно непроходимо. Зато теперь можно применить свои навыки канатоходца. Зря он, что ли, так долго к этому готовился и тащил снаряжение? Через пару часов показался верх платформы, веером испускавший десятка два крепких с виду тросов. Когда-то они поддерживали платформу снизу, а после, разломленную, рухнувшую, продолжали соединять с другими частями этого бесконечного конструктора. Так, переходя по тросам, Даниэль планировал завтра выйти к границе верхнего уровня. Вероятно, до самого последнего момента надо держаться ближе к наружной стороне. Там и светлее, и завалы должны быть не такими опасными. А потом уже идти к Скале и возле нее искать путь дальше. Дальше — это, предположительно, остров Маячный. Найти сам вход несложно. Всякого мусора навалено почти до потолка, так что разных тросов или обломков достаточно, чтобы по ним зайти к потолку вплотную. Самое трудное — протискиваясь в этом буреломе, не приползти в тупик. Запасы у него ограничены. Максимум дней на пять. После сил останется только на то, чтобы, зацепив канат, спуститься вниз. Даниэль натянул перчатки, энергично потер ладони. Ну что ж, работа предстоит «вполне, вполне», как сказал бы Филиппс. Даниэль уже и так немало нащелкал фотографий. А тут, где на каждом шагу сенсация, материала на целую книгу. Почему бы нет?

До темноты он перебрался по канату к платформе, вздыбленной в положение поплавок. Садилось солнце, впервые за день обнаружив себя. Завалы прорезали, искривляясь сложной геометрией, узкие лезвия заката. Их было так много, они ломались незаконченными зигзагами, словно Даниэль стоял посреди бесконечной комнаты с битыми зеркалами. Только когда свет влажным песком, осажденным на дно, потянулся вслед почти ушедшему солнцу, Даниэль бросил фотографировать и вполз в какую-то нишу. Выглянув, он видел последнее сужающееся движение света: где-то в мире закрывалась величайшая дверь, и вот, заскрипев, должна захлопнуться от неискаемого сквозняка. Ночь.

Ниша была как гнездышко. Как раз под рост Даниэля: сложив руки на груди, упереться спиной в одну стенку, коленями — в другую, а

снаряжение приставить сбоку. Очень удобно. Как будто в ладонях великана. Вот бы этот великан еще и донес его до Маячного и посадил на краешек. Даниэль смотрит, как великан уплывает в облака. Высота побеждена, Даниэль на крыше мира. С такими мыслями он и задремал.

Проснулся он от жалобного звука. Много, очень много существ хотели вскарабкаться, вползти в теплую уютную нишу. Выпить чистую пресную воду, сожрать консервы и концентраты. Даниэль резанул фонарем основание платформы. То, что он сначала принял за черный клубившийся туман, оказалось океаном бесформенных существ. Их бесцветные, слепые на свету глазки усеивали этот океан.

«Твари», — прошипел Даниэль. Закусив губу, мысленно перебрал снаряжение: из средств самообороны у него только альпинистский заступ и несколько сигнальных шашек. Он погасил фонарь. Твари скребутся в самом низу, жалобно пищат, нюют такими голосами, что непонятно, то ли ужасаться, то ли смеяться. Настолько голоса похожи на щенячий визг, скулящую мольбу. Он пережжет все тряпье, бросая его вниз. Потом забьет вход рюкзаком. Запалит одну шашку за другой. И в самом конце будет рубиться заступом. Увидеть бы рассвет. И так жутко.

Фосфорные стрелки на часахплыли к трем. Даниэль без фонаря различал соседние платформы, провисшие тросы, далекие непонятные арматурины. Пространство теперь не казалось ему таким уж бессмысленными и беспорядочным. В нем было какое-то очарование, скрытая песня. Лунный свет издалека перемещался по наклонным и отвесными платформам и, наверное, через час осветит ближайшую стену, тогда Даниэль разглядит, что это за декорации и персонажи спектакля, к которому он уже привык. Его платформа воткнулась почти отвесной вертикалью, сделав Даниэля недосягаемым. Твари скреблись и визжали, но вскарабкаться не могли. «За день надо успеть дойти до внешней стороны и подняться как можно выше», — думал Даниэль, через раз наблюдая, как лунные декорации медленно переезжают, показывая нехитрые фокусы со смещением пейзажа. Передний план звука утихал, мелкие пепельные твари схлынули, и теперь поднималась звуковая даль, будто там двигалось что-то большое, волнообразное. Даниэль достал бинокль. Луна невидимым светорежиссером плавно вела сказочное действо. Он вспомнил, как в студенчестве попал на галерку знаменитого оперного театра и тщетно тогда крутил дамский бинокль, пытаясь привести размытое пятно в подобие сцены. Здесь же

у него было самое лучшее место наблюдения этого фантастического платоновского театра теней. Оттуда же, из студенчества, память по частям доставала одно его стихотворение.

Вечерний эсминец с насадками молний

— так начинался стих, —

*Заходит в мой город на рейд,
На лунный экран, фильмографий исполненный,
Буду всю ночь смотреть.
В градирне дождя сквозь мерцающий стрекот,
Кинематограф, танцуй
Средневеково-церковного века
Пляску-безгрешницу.*

Потом были строки про рассвет, который был еще ох как далек:

*Эй, прыгни с неба,
Десантник раненый, рассвет,
Развесь по облакам, как сизый парашют, свой след.*

Заключительная строфа, очень, как казалось Даниэлю, щемительная и удачная, так и не пришла. Ладно, как-нибудь потом. Платоновский театр сменился на сюрреалистическую кинопесю. Даниэль выкрутил зум до предела. На лунном экране появились невозможные, невообразимые твари. На длиннющих ногах-ходулях, с тонкими подвижными хоботками. Степенно вышагивали километровые козявки, похожие на верблюдов, шествовали жуткие сороконожки длиной с экспресс, перекатывались двухголовые жуки — тени, тени, тени. Ходули такие тонкие, кажется, пальцем перешибешь, как из bestiария Сальвадора Дали, словно на параде последних достижений безумной геной инженерии. Так бы он и длился, этот парад, пока вдруг луна словно не перегорела. Где-то ее срезала преграда. Сложно представить, насколько огромны были эти твари. А может, только вытянутые на сотню-другую метров тени мутантов?

Утром ночной парад длинноногих показался Даниэлю галлюцинацией. Первые последствия радиации? А мелкие пепельные? Тоже? Выставив

длинную выдержку, он получил бы смазанное, но хоть сколько-нибудь фотографическое доказательство. А что тогда говорил этот «черный хиппи»? «Только космос и хаос. И партизаны». И «партизаны»?

Тросы между платформами скручивались перекрестками, расплетались в переулки, обрывались в провисшие тупики. Приладившись к ним, настроив шест, можно идти, куда пожелаешь. Канатная многополосная магистраль диагоналит остров. Теоретически, по ней можно выйти к пятачку, с которого дорога ведет вверх. Но на практике пожар шел и раскалывал платформы этой канатной осью: они ложились по обе стороны, словно раскаленная магистраль вспарывала их. Значит, идти к краю и наверх.

А ведь здесь был зоопарк, припоминал Даниэль, животных, конечно, не успели вывезти, не всех, многие погибли, но много и спаслось. Вот откуда мутанты. Сколько, должно быть, уже взросло поколений этих самых «партизан»? Боковым зрением Даниэль бессознательно ловил какое-то движение. Туда, где возникал очередной перекресток, Даниэль посветил фонарем, и с тросов, наперерез его пути, смахнулось несколько мохнатых капель. За две перебежки он достиг перекресток и крепко хлестнул шестом по сходявшимся к нему тросам. Раздался визг. В темноту вниз что-то посыпалось. «Твари», — зашипел Даниэль, чувствуя неприятный озноб в руках. Пройдя перекресток, снова заметил эти переливы темноты, сгустками скользившие по тросам. Так он и передвигался, почти боком, оглядываясь, ударяя шестом: спереди и сзади, — пока не попал на освещенный перекресток, за которым открывался настоящий хайвэй, виднелся край острова. Тут-то он и увидел внизу несколько нетронутых пожарами пространств. Десяток карликовых площадок, огражденных каменной стеной, сохраняли форму старинных венецианских дворишков. Минувшая красота их была подобна брошенным сокровищам, вросшим в обугленную материю вкраплениями, цветущими пятнами посреди пепельного небытия. Спустившись по канату, он попал в японский сад. С крошечным мостиком, осушенной ванночкой бывшего пруда, по берегам которого статуэтками каменели деревья бонсай. Ранний солнечный свет расходился кругами, словно в угол сада бросили мглистый камень.

Дворы, связанные между собой, куда-то вели. Вот пролет моста, подражающий венецианской достопримечательности. Вот площадка, в центре ее чаша фонтана — не прижившийся дичок античности. Вот

стена несколько раз проваливается между матовыми столбами, которые держат полукруг балкона. Следующий двор перекрывает арка, в ней подвешен фонарь. Черным малахитом молчит граненый ромб. После арки в стене крошечное крыльцо с дверью. Даниэль стоит перед ней, крепко сжимает альпинистский заступ.

Он не сразу понял, в чем дело. Зачем такие узкие проходы. Зачем ряды. И почему стены и так тесного коридора до предела утиснены громоздящимися до потолка шкафчиками. Что в них такого можно хранить, в этих лилипутских ящичках, на каждом из которых картонка в черной кайме? Он не сразу понял, что окружен стеллажами, книгами, что в картотеке для них дверей больше, чем в любом нью-йоркском небоскребе. Это была знаменитая нововенецианская библиотека, настоящий бестселлер среди букинистов и абсолютный блокбастер у охотников за книжными корешками. Библиотека, которая должна была сгореть в первую очередь, выстояла посреди многолетних пожаров и выглядела не так уж и плохо. После этого Даниэль соображал быстро и лихорадочно, словно мчался по лестнице, перескакивая через несколько ступенек. Картотечный индекс, стена с нужным ящичком, ячейка, ячейка, ячейка, раздел «Путеводители» и бланк, отсылающий к книге за тридцать стеллажей. Даниэль долго искал, задерживаясь на каком-нибудь бесценном манускрипте. Покрытый книжной пылью, он наконец осторожно обстучал твердый том, обтер рукавом заголовок, как заиндевевшее окно. Сквозь чистую строку прояснилась даль. Это был самый настоящий «Хобблит»! Тот самый! А точнее, «Наиполнейший путеводитель по одиннадцати превосходным островам, составленный Уильямом Хобблитом по итогам его хождения, обследования и описания их состояния, устройства и исторического происхождения». Таблицы, карты, миниатюры островов, текст в готических крючках, начинавшийся с буквиц, — уникальный рукописный самиздат, очень искусный, мастерский, явно подражающий средневековым часословам. Бумага глянцевая, репринт рукописной книги. Тираж чудной — 27 экземпляров. Значит, все-таки одиннадцать — не семь, не девять островов. Одиннадцать. С учетом того, что поднимался Даниэль на четвертый, а наверху — Маячный, значит, смешалось в эту непролазную свалку целых шесть уровней. Почти все похерено. В руках Даниэля единственное доказательство нововенецианских чудес — великолепный «Хобблит». Теперь-то он точно пойдет на Маячный. Даниэль поискал другие книжные сокровища. Но много с собой не унесешь. И времени искать тоже

нет. Он взял только подборку издававшейся здесь газеты — «Терра Венеция», аккуратно обернул ею находку и покинул библиотеку, намереваясь пролистать «Хобблита» сегодня же.

К вечеру Даниэль дошел до края острова. Внизу оставались километры разрухи, но здесь, наверху, тросы дальше уже не вели. Заночевать можно в криво повисших кабинках канатной дороги — «гондоле». Среди птичьих пространств, порезанных черными проводами тросов, они словно притопленные в облаках лодки. Здесь светло, а значит, ночных тварей можно не ждать, вряд ли они заползают так далеко.

«Хобблит» начинался с рисунков. Он рассказывал, как возводились острова, как стелили один поверх другого левитронные маты, как башенные краны работали вверх-вниз стальной рукой — словно дело происходило в незапамятные времена, и трудились герои и боги, — и свидетельствовал об этом великолепными миниатюрами. Обстоятельными, подробными, открывавшими события из близкой перспективы. Рассказывалась история «Бучинторо», или «Буцентавра», — державного дирижабля, ходившего из Новой Венеции к европейским столицам, названного именем исторического судна. Описывался привоз палатцо Барбариго, а перенесение Галереи Академии обыгрывалось через сюжет картины Тьеполо «Перенесение домика Марии из Назарета в Лорето». Потом шла большая вставка о первых годах Архитектурной Выставки. А следующие развороты повествовали о падении Новой Венеции. О замене картонными муляжами. Автор сетовал, что как когда-то губили Венецию пожары и «вот бы не случилось то же и с нами». На новые районы тенью легли оригинальные названия: Сан-Марко, привокзальный сестьере и обширные Дорсодуоро, Кастело и Каннареджо. Все в картонном исполнении.

Между главами обычно был вставлен какой-нибудь остроумно сплетенный узор-головоломка. Но в одном месте главы разделяла крупная бабочка, которая, похоже, случайно расцвела из радужной, приветливой кляксы, капнувшей в разворот страниц слякотной, гуашевой краской. Художник, чтобы не допустить сомнительных толкований в сторону мрачных симметрий Роршаха, обратил ее в ожидаемую, дружелюбную гостью.

Далее автор делал большие риторические глаза, с притворным удивлением восклицая: а было ли все это на самом деле? Невероятные технологии, дворцы, соборы, перенесенные через материки и океаны,

отбуксированные по воздуху. И сам себе отвечал: но ведь и без этой технологии передвигали и здания, и даже целый храмовый комплекс в Абу-Симбел, буквально в те же годы.

По всем приметам, «Хобблит» был закончен уже после введения Доктрины-72, когда «временной досмотр», упоминаемый книгой вскользь, был еще мало кому знаком. Движение «гидов» только зарождалось. Упоминались «муравьиные тропы», заложенные в самом начале островов, буквально на этапе строительства, как предчувствие и предвидение «гидами» запасного варианта событий. Первыми «гидами» были строители островов, создавшие свой тайный уклад и устав. Читай: новый орден «вольных каменщиков». В случае, если гаванские власти решат поставить небесный город под свой контроль, «гиды», понимая, что люди всегда будут стремиться нелегально подняться вверх, станут делать это тайно, но безопасно. Однако, в последнем абзаце «гидовской» главы недвусмысленно говорилось, что в какой-то момент управление орденом было перехвачено «временным досмотром», чтобы сформировать подконтрольную ему службу, что-то вроде подразделения охраны «островов». Упоминалась крупная лаборатория, под которую была отдана часть Девятого уровня. Автор и сам не знал, насколько большая. Уж не из нее ли происходили эти «партизаны», мутанты, выжившие среди огненного апокалипсиса?

По всему выходило, что «гид» должен очень хорошо знать острова, провести по ним экзаменационную экскурсию. Поэтому, как теперь понимал Даниэль, Гедеон специально направил его такой дорогой, чтобы не подняться выше Богемского уровня. Это не «муравьиные тропы» обвалились, это Гедеон водил его такими тропами.

С утра Даниэль наметил ориентир: обглоданный пожаром и ветрами дирижабль. Вероятно, тот самый «Бучинторо». Осматривая в бинокль тропы, прокладывая по ним примерный путь, он понимал, что «Хобблит» мало что ему дал. Книга словно сохранила описание стоявшей на вулкане Атлантиды, а вокруг лежала уже искореженная изнанка самого вулкана. Чтобы узнать, что осталось от прежней Атлантиды, потребовался бы новый «Хобблит». Изредка проступали очертания кварталов, сохранивших первозданную застройку, нетронутых огнем. Пепельные отпечатки снесенной пожаром оранжереи. Вытянутый по дуге живой сад — так далеко, что его зелень обратилась в тень. Даниэль

шел и шел, перебирался по тросам, которых в этих краях становилось все меньше и которые мерно покачивались долгим периодом, словно длинная волна ходила от внешней части острова к внутренней. Как когда-то Венеция страдала от нехватки земли среди воды, так и теперь здесь не хватало земли среди неба.

Даниэль и был посреди небес. Внизу мерцало море, намывая барханы облаков. Только узкий упругий трос под ногами и страховка, с одной стороны защелкнутая на поясе, с другой скользящая кольцом по тросу: при рывке срабатывал механизм, стопоривший кольцо. И все. Даниэлю только и оставалось, что идти, осторожно подтягивая рюкзак, скользивший на кольцах по тросу, балансировать шестом и напевать песенку.

*На берег солнца выходил
веселый человек,
ласкал лучи, и в ветре плыл,
и белый гладил снег,
и сны снимал на цифровик,
и кисточкой ловил
оранжево-зеленый блик
от бабочкиных крыл.
Но вот однажды был четверг,
как дождь в апрельский день,
пошел на берег человек,
а вышел в чью-то тень:
над ним фрегат, ложась на галс
в восточную страну,
флажком с кормы в последний раз
приветливо махнул.*

Внизу снова показался заброшенный дворик: пустырь, стена. Садик перед домом. Оба ухоженные, словно только недавно стали дичать. Может, последний обитаемый кусочек, который то ли забыли, то ли потеряли, то ли, наоборот, украли и принесли сюда, чтобы сохранить. Что если после пожаров там уцелели люди и еще долго-долго жили, выращивали в саду яблоки, разводили огород и, возможно, какую-нибудь поднебесную куру, чье перо осыпалось вниз. Что если спуститься и проверить? А стоит ли?

Смотрел ли он вверх, где должен быть Маячный? Только под вечер тот стал виднеться. На мгновение, в свете заходящего солнца, в бинокль на верхней границе острова Даниэль увидел фигурку, окрашенную в яркие закатные цвета, облаченную в подвижный, подветренный порыв платья, едва сгущенного из воздуха и готового сбежать на периферию зрения, то есть в небо.

«Бучинторо», вытлевший, ободранный, лежал в перекрестье тросов саргассовым островком. Ближе к нему стали встречаться огромные болты и шайбы, меченные краской. Отметины были повсюду — на каждом болте, тросе, любой крепежной детали — своими «+», «-», «/», «--» указывая степень сохранности материала. Два минуса означали самое плохое состояние. Минусовой была почти вся часть, обращенная к морю. После затяжного крюка, обойдя цеппелин с севера, Даниэль подошел к нему уже в сумерках, подсвечивая метки фонарем. Встречались в основном плюсовые. Там, где пути расходились, словно за железнодорожной стрелкой, фонарь нашарил извилисто провисший трос. Даниэль тронул его шестом, тот неожиданно заискрил, раздался хлопок, на секунду ослепивший. Трос под Даниэлем дрогнул и тоже вдруг заискрил. Даниэль отпрыгнул на соседний трос, но тут же отскочил назад — канаты, привязанные к рюкзаку, были коротки, отдернули его, и он, выронив шест, повис на них, как муха в паутине. Шест катился вниз, цепляясь за тросы и подскакивая. Рюкзак раскачивался вверх, неправдоподобно сильно сотрясая трос, — словно он стал тяжелее раз в сто. Но дело было не в рюкзаке. Отовсюду, спереди и сзади, нещадно дергая тросы, приближалась тьма. Даниэль подтянулся на канатах, чтобы отцепить карабин на поясе, и в этот момент снова заискрило и хлопнуло так, что канаты пережгло, Даниэля подбросило, а потом понесло вниз, куда только что ускакал шест. Даниэль упал на наклонную поверхность — часть платформы — проскользил по сужающимся стенкам и враспорку между сходящимися плоскостями уперся ногами и спиной. Шест наискосок лежал тут же, одним концом провалившись в щель. Даниэль попытался прийти в себя, сосредоточиться. С собой у него остался фонарь, наброшенный лямкой на шею, а через плечо переброшены канат и сумка с фляжкой и «Хобблитом». Даниэль посветил по сторонам. Внизу, метрах в двух, поверхность, по которой он скатился, переламывалась надвое, образуя острую воронку. Протискиваясь боком, можно вылезти из

нее. Даниэль дотянулся до шеста, вытащил его и так же враспорку стал двигаться вбок. Шест мешал, Даниэль, еле управляясь с сумками и посвечивая фонарем, даже хотел бросить его. Подумал, что если он выберется, то вверх пойти уже не сможет. У него и так уже был весь необходимый материал для статьи. Много фотографий. Легендарный «Хобблит» сам по себе уже сенсация. Круг фонаря внезапно ухнул в темноту и предательски забегал вдалеке. В платформе метрах в трех по ходу движения был пролом — рухнувшая бетонная плита образовывала почти горизонтальный мост, который в свете фонаря казался идущим под брюхом цеппелина туннелем. Вверху вздымался каркас дирижабля, выпуклой, как живот, формы. Пройдя по плите, Даниэль привязал шест к канату и, вскарабкавшись по дугам на самый верх каркасного живота, подтянул шест.

Было видно, как внизу над рюкзаком пировали «партизаны», изредка посверкивая глазами. Через некоторое время, оценив, что он в недосыгаемости, Даниэль спустился в место воображаемого пупка этого дирижаблевого живота — тут еще оставались хлопающие на ветру тканевые лоскутья, — развел из них костер. Зажигалка вместе с фотоаппаратом тоже спаслась в сумке. Лоскуты хлопали на ветру уже не одно десятилетие. Разбитая пассажирская корзина лежала на боку далеко в ущелье, составленном из вплотную сдвинутых платформ.

Ночь еще и не начиналась, подумал Даниэль. Луна только собирается на свою фосфорическую работу. Пачку газет, в которую обернута книга, можно не спеша читать, а потом отправлять в огонь.

Даниэль подумал, что он «претерпевает». Именно это слово пришло ему в голову. Как «претерпевали» путешественники сельвы, антарктических пустошей, Сахары и Гоби, превращаясь из экипированных конкистадоров пространств в уставших, изможденных скитальцев, бредущих на пределе, наугад, бессонных и уже полусвятых в своем путешественном бреду. Именно так он представлял историю открытия средневековой фотографии, которую совершил тот самый их общий с Трефом знакомый, Адвентуро Бенвенуччо. В начале своего пути он был обычным кабинетным журналистом. Треф случайно указал ему на торчавший в далеком чешском монастыре зачин возможного репортажа. В фотокопии чешской летописи Треф углядел нечто перспективное. Но, понимаешь ли, годы, но семья, но главредство какого-никакого, а журнальчика. А ты и молод, и... Даниэль хорошо

знал эту песенку. И Бенвенуччо поехал. И ответил телеграммой, что ничего нет, пусто. А потом еще одной, сообщавшей с промежуточной станции, что он на пути в другой монастырь. И тут он пропал. Дальнейшую историю, изложенную в сенсационном выпуске National Geographic, читал уже весь мир.

Южнославянский монах, живший в конце пятнадцатого века, чье имя утеряно, рьяно добивавшийся философского камня, обнаружил поразительный эффект. В келью, где он проводил замысловатые опыты, забитую всякими самоделками и диковинками, попала древняя арабская камера-обскура. Однажды на ее задней стенке, пластинке, часто вытаскиваемой и используемой в качестве лабораторного столика, монах обнаружил четкий синеватый рисунок, напоминавший что-то очень знакомое, но не разобрать что такое. Покрутив ее так и сяк, он, как громом пораженный, осел посреди своих химикатов и реагентов. Конечно, Бенвенуччо злоупотреблял в статье всякой достоверностью. С одинаковой уверенностью можно сказать, что монах отнесся к своему открытию вполне спокойно. Итак, пишет Бенвенуччо, фактически это была первая в истории фотография, на которой запечатлелась хмурая алхимическая мастерская. Над восстановлением состава на пластинке ушло, заключает журналист, почти три года. За это время монахом был разработан метод «природного препарирования анатомии предметов». Этот термин — тоже жалкая выдумка бездарного писаки Бенвенуччи.

Монах был неробкого десятка и вполне сметлив, чтобы под видом странствующего художника пуститься в путешествие по Европе, запечатлевая своей новой технологией все вокруг. На одной из пластинок мы видим тихую, прикрытую туманом реку. Кривые мостки, обгоревшее дерево. Гористые берега, накладываясь друг на друга, сходятся вдаль. Вот другой снимок: нищий-весельчак, чаплинский бродяга, обвисшие штаны, неизвестного покроя курточка. Лицо сверху затемнено капюшоном. Треугольник носа, щека и острый подбородок... Юная пастушка: смотрит вдаль зашпанным взглядом, ладони касаются пня, одежда — собранный в складки не по размеру большой плащ. Шея открыта. Волосы, густые, тугие, словно баранье руно, легко держат форму гривы, собранные руками назад... Вид города сверху, вероятно, с колокольни. Следующий слайд поразителен. Узкий водный переулочек. Кирпичная стена потеряла штукатурку. Арки, в глубине кадра однопролетный мост соединяет берега переулочка. К ним пришварто-

ваны остроконечные ладьи. Их водные тени накренились. Венеция... Замки, замки, луга, леса. Натюрморт: на белой скатерти темно-синие бутылка, чашки с округлыми краями, бокал из толстого стекла, четки прячутся в чернильную тень. Четыре монаха. Разрушенная церковь, неполные витражи. Группа из ангельских голов, отколотых от барельефа, в треугольном закутке. Над ними нищенская сума.

Пластинки монах потом продавал под видом картин — надо сказать, он довольно сильно упрощал и портил их красками, чтобы его не обвинили в колдовстве. В числе изображений был и первый в мире автофотопортрет, селфи. С него на зрителя смотрит круглолицый, с живым прямолинейным взглядом человек. С тонкими немецкими губами, дюреровским носом, припухшими веками. Бенвенуччо пишет, что сперва принял его за фотографию самого Парацельса или даже Мартина Лютера. (Каков притворщик!) Но на одной из пластинок этот же человек протягивает обе руки к зрителю: держит камеру в руках. Бенвенуччо, назвавший метод монаха также «пассивной фотографией», однозначно определяет этого человека как изобретателя.

А картинки монаха были весьма хороши, даже порченные. Поэтому кто-то из натурщиков проговорился про ящик, а кто-то видел, что никаких красок нет, а изображение возникает само собой. Монаха изобличили в колдовстве, приговорили к сожжению. При помощи учеников он бежит в недавно открытый Новый Свет, в Южную Америку — к тому времени он уже окружен крошечной группкой преданных соратников. Скорее всего, художников. С этого момента Бенвенуччо сам идет дорогой монаха, попадает в Аргентину, пробирается сквозь непролазную сельву, умирает от голода, жажды и преследования диких племен, но все-таки находит крипту, а в ней сто с лишком синеватых пластинок, а также манускрипт, где один из учеников, уже через много лет после смерти учителя описывает историю первой в мире фотографической школы.

После публикации пару лет назад статья наделала много шума. Треф пробил ее в NG, не предполагая грандиозных последствий. Да, были и сомневающиеся, фыркающие критики, нахальные издевки искусствоведов, пренебрежение историков. Но были и защитники, надеющиеся, уверовавшие в феномен. Да, говорили они, шерстяная фактура низкокачественной фотографии, да, факт удачного стечения химикатов невероятен. Но зато мы видим настоящее, подлинное Средневековье, лица, одежды, атмосферу. Статья так и осталась спор-

ной, феноменом «средневековой фотографии» до сих пор занимается наука, от которой ее оберегает преданное сообщество, подобно тому, как поступило церковное с Туринской плащаницей. Но это уже мелочи. Крути на воде. Главное, статья выстрелила, а Бенвенуччо получил всемирную известность.

Именно поэтому Даниэль теперь здесь — в разреженных условиях, окруженный преследованиями «партизан», ветром, высотой, защищенный остатками разрушенного дирижабля, с цифровым фотоаппаратом за пазухой и в ожидании такой же всемирной славы.

Утром Даниэль вернулся к рюкзаку. Выпотрошенный, опрокинутый, зацепившийся за случайный крюк, он пережил ужас ночных тварей, главарем которых представлялся сверхъестественный электрический осьминог, пускавший молнии по тросам. Вот до чего мутанты дошли... В застегнутом на молнию кармане рюкзака сохранились два пакета чипсов. Очевидно, с таким харчем долго не протянешь. Мучительные сутки, не больше. Пора думать о возвращении.

Если верить «Хобблиту», а почему бы и нет, то в этих краях когда-то был нововенецианский Гетто. Заводской район. Разрушенные ангары, сборочные цеха дирижаблей. Острова сейчас населяют какие-то странные остатки человечества: горстка «гидов» и полоумных хиппи. А теперь он узнал еще и про «партизан». Такие они, венециани, жители воздушной Венеции. Града небесного. Обгоревшая, облупившаяся фреска.

В тот вечер он шел к опалесцирующим лучам, приняв их за трещину вверху платформы. Распознав ядовитую звезду, попятился на край острова. Тут и нашел шайбу, опоясанную надписью. Значит, кто-то тоже был здесь, тоже не смог подняться выше, иначе зачем эти слова горечи, разочарования. Оставил метку и ушел назад.

*Men are we, and must grieve when even the Shade
Of that which once was great is passed away.¹*

Даниэль вернулся к дирижаблю, собрал последние клочки материи, согрелась, жег их, а потом газеты. Бесценные, красочные. В огне таяли

¹ «Мы люди и должны печалиться, когда даже тень той, которая когда-то была великой, исчезла». У. Водсворт.

заголовки: «Терра Венеция». Прокрадись в палатку твари, он бы не почувствовал их, как не почувствовал, что под утро пришел кот, влез в середину кольца, в которое свернулся человек, прижался к нему и замурчал. Даниэль не знал, что кот был не из тех, клановых, рыжих или белых, серых, обитавших еще выше, под самым Маячным. Этот был голубоватый британец, домашний, ухоженный, с ошейничком, в который вдавлены буквы «XL-МС».

— Икс-эль-эм-си? — смеялся утром Даниэль. — Это что, здесь так обозначают размер котов? И это средний кошачий у местных?

Даниэль скормил британцу полпачки контрабандных чипсов, и тот стал умываться. Понравилось. Надо было последить, куда пойдет этот самый Икс-эль-эм-си. Вдруг выведет наверх. Даниэль, конечно, не знал про себя, что был он таким типом, который привлекает внимание котов и маленьких детей. Сразу было не понять, нравится он им или нет, они сохраняли лояльное любопытство, на всякий случай полагая, что он может им чем-нибудь пригодиться.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Раз в месяц она спускается вниз не на лифте, а пешком, прямо по тросам. В сумке у нее папка со списком всех аварийных шайб и баночка с краской. С инспекцией надо успеть, пока под солнцем самый дальний угол. Не успеешь сегодня, завтра опять рано вставать. И так, пока не пометишь все вплоть до разбитого дирижабля. А возле него и днем все видно. Краской ставишь на огромных гайках метку. Это, конечно, оценка на глаз. Бывает, что плюс не очень-то отличается от минуса — ставишь плюс-минус. Но другого средства нет. Так они с дядей и наблюдают, как ветшает и рушится мир. Она идет без страховки и шеста. У нее встроенное чувство равновесия. И, по правде говоря, здесь, среди тонких магистралей, она чувствует себя дома больше, чем на Маячном.

Дорогу домой ее кот находит на «элементарно, Ватсон». Холмсики, британский XLМС, во всех тонкостях канатохождения разбирающийся лучше ее, где-то пропал уже пятый день. Значит, Ватсон идет на помощь.

Несколько раз она видела мерцающую блестяшку: сначала по-сверкивало с «Титаника» — так она называет платформу, вертикально зарывшуюся носом, потом — над садами, в последний раз — от дири-

жабля. Тот всегда был главной целью инспекций. После разметочной работы забирались по закопченным ободам на «капитанский мостик», доставала термос. Пила чай. С бутербродом. Долго так сидела и, конечно, болтала ногами в пустоте. И вот с «капитанского мостика» вчера моргнуло. Это означало, что на островах путешественник. Холмс, конечно, притерся к нему, и Ада шла это проверить.

Пока по небу падал десантником раненый рассвет, раскрыв километровые парашюты облаков, над самой оконечностью острова рыбачила эскадра тучек, закинув миллионы тонких лесок в океан, продолжая тихий промысел дождей. Перечеркнутое авиационным грифелем во всю ширь, свободное от тросов и платформ, над Даниэлем стояло небо. Из наступающего дня донеслась боевая кричалка петуха, с неизменным ударением на последний слог. Чувствовалась близость жилья. Кот, задрвав хвост, бежал не глядя под ноги. И вот она тоже это видит: шатаясь от усталости, с шестом поперек троса, идет человек, а Холмс уже прискакал и трется об ее ногу. Даниэль дошел до оголенного перекрытия, взобрался на него, положил шест и сел на траву. Посмотрел на девушку снизу вверх.

— Привет, — сказал он. — Я Даниэль, странник-на-островах.

— Привет, — ответила она. — Я Ада.

Девушка поражала своей странной, деградирующей красотой. Будто в далекие времена она была прекрасной принцессой, а теперь увядала сладким тяжелым оттенком меланхолической дурноты.

— Котов только корми, и все, их даже радиация не берет, — сказала она, беря Холмса за пушистые щеки. — У них даже «партизан» нет.

— Как это: «партизан нет»?

— «Партизан»-то? — Она засмеялась. — А ты про них знаешь? У меня в детстве тоже были «партизаны».

— В смысле — «тоже»?

— Так называются галлюцинации от магнитона. «Партизаны».

— Значит, этих тварей не было? — Даниэль, несмотря на усталость, смог удивиться. Все это время воображение играло с ним в «казачьи разбойники»?

— А там были твари? — Она смотрела на него с любопытством. — И что это были за твари?

— Ужасные твари... Самое смешное — сражаться, а потом убежать от своих собственных «партизан»...

— Можешь не рассказывать. У каждого бывают свои «партизаны». Уж поверь, мои были не лучше.

Даниэль встал, и они пошли. Да, это был Маячный. Тот самый легендарный, тот самый высотный Маячный — и, как оказалось, очень похожий на деревню, окруженную со всех сторон небесной водой, подступавшей прямо под дома, а пирсы и пристани на десятках метров торчали в облака. Смещенное от центра острова футбольное поле в форме подошвы, с полосатой штангой, пронизанное тропинками, с трибуной, заросшей кустарником. Улицы и дома огибают эту зеленую подошву, устроив вокруг нее несколько петель. В один бок Маячного вдавлен верблюжьим горбом кусок Безымянной. Остров и висит на этом верблюжьем горбе. И на дальнем краю, совсем выходя в небо, — маяк.

Они подошли к дому-ротонде, где жил Главный Архитектор. Ада — его племянница. Подумать только, усмехнулся Даниэль: как в заправской романтической истории, где героиню-племянницу дядюшка обучает математике.

— Тебе повезло, — сказала Ада. — Дядя сегодня дома. Его редко можно застать на одном месте.

— Ты шутишь? — спросил Даниэль.

— Конечно, нет. Думаешь, мы только и делаем, что сидим у себя на островах?

— А разве нет?

— Нет, конечно.

— А как же вы?..

— Что? Как спускаемся? На лифте, конечно.

Еще в поезде, пересекая границу между будущим и прошлым, Даниэль представлял встречу с Главным Архитектором. Какие слова ему скажет. Речь у него выходила неплохая, связная. Даниэль в ней описывал, как долго он мечтал попасть в Воздушную Венецию, как много готовился, как благодарил всех, кто помогал ему, и как теперь рад пожать руку такому славному воображаемому Главному Архитектору. Эту речь он каждый раз вставлял в свою ненаписанную статью. Другие люди в ней тоже участвовали, но какими-то побочными, косвенными голосами, глухими, далекими, и Главный Архитектор

говорил как будто по другую сторону сна. А теперь Даниэль входит в кабинет Главного Архитектора и видит сидящего за столом пожилого мужчину, настоящего капитана. Похоже, красота — это у них семейное. Крупный, хорошо сложенный, будто с картины, великолепно прорисованный капитан. Большой фрегат должен ожидать его за окном, где такие поднебесные красоты, что просто ах... У капитана седые волнистые волосы вокруг лица. Усы и борода. В седину и белый пиджак, заменяющий ему в быту китель. Даниэль, наверное, глупо улыбнулся: не актер ли это, не постановка? Слишком красиво сидел этот человек в таком красивом кабинете: освещенный витражными окнами, расправленными веером, в окружении стеллажей с толстыми книгами, свернутыми ватманами — навигацкая литература и чертежи островов. И между ними, кажется, даже втиснут «Хобблит».

Совсем не так представлял Даниэль эту встречу. Капитан, построивший острова, пригласил его присесть, рассказывал про орден Мастеров, который он основал и в котором на самом деле не было никаких Мастеров: это придуманная им легенда. Новой Венеции для привлечения туристов нужны были свои легенды и традиции. Нужен был миф, который складывался параллельно возведению островов. За картины Мастеров взялись высококлассные живописцы. Главный Архитектор под псевдонимом Уильям Хобблит написал путеводитель по своим островам, а когда живописцы закончили «Канон Мастера», дав подписку о неразглашении, dokonчил историю Мастеров забавной завитушкой: все они ушли в картину, ту самую, которую последней нарисовал Эухени Быстробегий. И Трефа он тоже знал. В те годы это был молодой, жаждущий славы журналист из мелкой газетенки, желавший прославиться открытием феномена Мастеров, но так и не попавший в редакцию NG, не ставший даже его внештатным корреспондентом. В истории Мастеров он записан как «человек из Рима». Капитан с грустью рассказывал про семью своей сестры, красавицы, вышедшей замуж за одного из художников, приехавших в первые годы на острова. Их дочь пострадала от излучения, о котором тогда никто не знал. Всю жизнь он чувствует вину перед племянницей. Она, рожденная здесь, уже не могла жить нигде больше и навсегда будет привязана к этому месту: излучение одновременно искалечило и подпитывало ее жизнь. Родители оставили ее: мать вернулась на «материк», отец ушел к художникам на третий уровень, к хиппи.

«Уж не был ли «черный хиппи» отцом Ады?» — подумал Даниэль.

— Сейчас это уже не тайна. Почти не тайна. Через месяц мы раскроем все эти карты, — он обвел комнату рукой, — и отдадим их в музей «Новой Венеции». Вы можете об этом свободно писать в своем журнале. Маяк, конечно, не настоящий, — добавил Главный Архитектор под конец. — Сетка, как в Шуховской башне... Вы можете остаться на пару дней. Не больше. Потом спуститесь на лифте. Ада покажет.

Вечером, при луне, Даниэль и Ада сидели возле маяка. Она рассказывала о детстве. Детство — подземелье сокровищ, в которое спускаешься, освещая ступени в прошлое фонарем любопытства. Разбитые, расколотые корабли мечтаний и надежд; парящие в стартовом огне и клубах дыма ракеты, инопланетные пейзажи и галактические фейерверки. Смуглые, душные джунгли снов, несметные богатства миров, прозрачных, пересекающих друг друга слоями кальки: шаг между ними — и вселенская катастрофа, и другой шаг — полет на огненных колесницах; и перо ангела-возницы щечочет глаз и выжигает в ладони печать. Удаляясь, детство оставляет за собой только сундучок с потрепанными куклами, перемещенными в чулан. И в темноте его светлым пятном горит воспоминание о каком-нибудь единственном дне — как лунная монета в глубине колодца. И ты всю жизнь бежишь, летишь, путешествуешь в погоне за этим пятнышком — а оно все дальше и дальше.

— ... и до него невозможно дотянуться, даже встав на цыпочки, — сказала она. — Представляешь, в детстве я думала, что нужно только научиться балетной стойке на носках, чтобы достать луну. Что это такое испытание. Надо всего лишь научиться. Время шло, а балетная стойка не помогала. А теперь, когда ты уже взрослый, понимаешь, что так не бывает.

Взошедшая луна была потрясающая. Розовая, голубая, пепельная, с опаловыми кратерами — словно следами колоссальных мыльных пузырей. В шершаво-пористом покрывале. С темно-фиолетовыми пигментными пятнами.

— Удивительно, — сказал Даниэль, — а я в детстве думал, что все эти кратеры — просто выдумка. И когда впервые посмотрел в телескоп, тоже не поверил. Настолько они отчетливые, будто нарисованные. Будто тех, кто на Земле, дразнят. Правда ведь?

— Дядя, конечно, говорит, что все это продержится хоть сто лет, — сказала Ада, размышляя вслух. — Но даже если так, кто будет жить здесь?.. Почти все ушли вниз. Никто не хочет жить в первом в мире воздушном поселке.

Даниэль молчал про грядущие перемены, про выселение. У Ады был мобильный интернет, она пользовалась современными гаджетами, скоро сама все узнает, если дядя не опередит.

Весь следующий день Даниэль ходил по Маячному, делая фотографии на каждом шагу. Обдумывая в бессонную ночь свой репортаж, он решил, что посвятит его защите островов, а не сенсации. «Даже если твоя мечта разваливается буквально на твоих глазах, — были такие строчки в его будущей статье, — превращается в свои собственные обломки или кажется, что мир обманул тебя, что никакой мечты нет, — продолжай верить в себя, наперекор всему, считай, что ты и есть своя собственная мечта, построй ее в реальности из воображения».

Следующим вечером он спустился на лифте возле Безымянной Скалы. Дорога вниз занимает не больше десяти минут. Подумать только, в любой момент, знай, где лифт, он бы так бездарно и вслепую сократил свои невероятные приключения.

Спускаясь, он еще не знал, что внизу уже несколько дней по наводке Джагга Чо, Гедена и, конечно, Катарини его ждет временной досмотр. Что сразу же у него отберут фотоаппарат, «Хобблита», диктофон, которым он забыл воспользоваться. Запись речи Главного Архитектора так органично вплелась бы в статью. И еще он не мог знать, что потом, во время своего двухнедельного заключения в гаваннской тюрьме, посещать его будет единственный ангел-хранитель, старенький редактор Треф, который принесет новость, что Доктрина отменена, но официально сообщат об этом через месяц, не раньше, и что он уже хлопочет об его освобождении.

А пока Даниэль спускается, мечтает, какой сделает репортаж, как все опишет, какие фотографии вставит, как посвятит его Главному Архитектору и всем венециани, и какая его захлестнет слава, которую будет гнать впереди него поезд, возвращающий Даниэля в его «воздушную Венецию», уже разобранную, невидимую, исчезнувшую

с небес. И пока мечтает, наконец вспоминает ту самую, последнюю, строфу из своего студенческого стиха:

*Эй, если б можно
Лететь во все края,
В тельняшке из лучей,
Грызая горбушку счастья: «Ничей».*

